

А. Белый

ПОЧЕМУ Я СТАЛ СИМВОЛИСТОМ И ПОЧЕМУ Я НЕ ПЕРЕСТАЛ ИМ БЫТЬ ВО ВСЕХ ФАЗАХ МОЕГО ИДЕЙНОГО И ХУДОЖЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

1

Почему я стал символистом. На это ответят нижеследующие разъяснения мои.

Но прежде всего должен отметить основную *тему* символизма в себе. Я различаю себя в этой теме двояко (или даже трояко); я ощущаю в себе становление темы символизма так, как она пела в душе моей с раннего детства; и я осознаю эту тему в усилиях ее идейно выграничить - уже позднее: при встречах с людьми; здесь вступают: идеологический момент и момент социальный; появляется "мы", коллектив и мечты о партии; и в этом втором моменте я отличаю два, так сказать, подмомента: совместное вынашивание символизма в целом интимном идейного быта "*символистов*" и идеологическую фиксацию его как культурного течения русской действительности; в этой фиксации я отличаю: во-первых, то, что привнесено *мною*; во-вторых, то, на чем *мы*, символисты, пересекались согласно.

Ряд напластований лежит для меня на *моей теме*: 1) интимное "я", 2) идеологически выношенное отдельно от других, 3) с другими, 4) идейно платформированное вне тактических и полемических преломлений моментов, 5) вопросы тактики, полемики (так называемая "*школа*" в искусстве).

На вопросы о том, *как* я стал символистом и *когда* стал, по совести отвечаю: *никак не стал, никогда не становился, но всегда был* символистом (до встречи со словами "*символ*", "*символист*"); в играх четырехлетнего ребенка позднее осознанный символизм восприятий был внутренней данностью детского сознания; вспоминаю себя в одной из игр; желая отразить существо состояния сознания (напуг), я беру пунцовую крышку картонки, упрятываю ее в тень, чтобы не видеть предметность, но цвет, я прохожу мимо пунцового пятна и восклицаю про себя: "*нечто багровое*"; "*нечто*" - переживанье; багровое пятно - форма выражения; то и другое, вместе взятые, символ (в символизации); "*нечто*" неопознано; крышка картонки - внешний предмет, не имеющий отношения к "*нечто*"; он же - видоизмененный тенями (багровое пятно) итог слияния *того* (безобразного) и *этого* (предметного) в то, что ни *то* и ни *это*, но *третье*; символ - это третье; построив его, я преодолеваю два мира (хаотичное состояние испуга и поданный мне предмет внешнего мира); оба мира недействительны; есть *третий* мир; и я весь втянут в познание этого третьего мира, не данного душе, ни внешнему предмету; творческий акт, соединение видоизменяет познание в особого рода познание; познавательный результат, выговариваемый в суждении "*нечто багровое*" утверждает мой сдвиг к *третьему* миру.

То, что я описываю схематично, - нерв моих детских игр; нечто, имманентное моему сознанию; взрослые никак, ничем не задевают во мне жизнь этого нерва; наоборот: облепляют его извне поданными предметами и разъяснениями о них, не открывающими мне ничего о моих внутреннейших движениях детской души; я вынужден эти движения скрыть; да и если бы я хотел выявить эти движения, у меня нет слов; словам и смыслам их я научен извне; движения эти, мое "*нечто*", однако, настолько "*реальность*", не взятая на учет взрослыми, что, разрастаясь во мне вне слов и образов, она рассасывает во мне мое "*Я*"; "*Я*" чувствует себя утопающим в пережитиях без названия; и "*я*" в особой, лишь мне ведомой игре, выплывает в то, что уже ни внутри, ни снаружи, - таков в позднейшем открытии мне мир символов (не познание, не переживание, не отражение пассивное в рассудке "*предмета*", не творчество его, но - творчество-познание, так сказать).

Упражнение в этих играх осознано мною как собственно культура роста моего "Я"; но я брошен взрослыми в этой своей культуре (выкарабкивайся как знаешь); и когда доктор говорит о том, что я нервный и что от меня надо отнять сказки, я чувствую, что спасительную соломинку игры в образы отнимают извне у меня, и я без нее кинут в бездну невнятицы; если бы взрослые поняли мой детский страх перед отнятием у меня сказки, они бы на своем языке выразили этот страх так: "Он борется за целостность "Я", - за то, чтобы не впасть в нервное заболевание". Шести лет я подслушиваю слова мамы об "этом" моем: "это" - болезнь чувствительных нервов". Так на "их" языке; строя символические суждения "нечто багровое", "страна незабудок" и т., д., я учусь не заболеть болезнью чувствительных нервов от яркости неопознанных *восприятий*, во мне живущих; через 26 лет я узнаю в одном из циклов Штейнера, что эта яркость восприятия угрожала некогда атлантам, и, чтобы темперировать жизнь чувств, с сестринской душой Адама соединился Логос (в духовном мире); следствие этого - равновесие в переживаниях докладов органов чувств; так через 26 лет мне открыт подлинный возраст моего "Я" на рубеже третьего и четвертого года; я спасен от разрыва внутренних чувств во мне (или "болезни чувствительных нервов"); акт этого спасения - в игре соединения, в символизации, при помощи красной картонки моего, меня рвущего "нечто"; произнеся "нечто багровое", я соединил доклады разных министерств моих чувств; в символе-модели - преодоление ранних стадий лемуру-атлантского хаоса в нечто конкретно-логическое; об *этом* моя игра; после - символизм, или акты творчески-познавательных действий, приобщающих меня миру Логоса; до-растерзы, хаосы, бред, над которым в игре я поднялся.

Так переживался мною конкретно период древнейших культур в становлении самосознающего "Я"; об этом точнее я передал в "*Котике Летаеве*"; "*Котик Летаев*" берет фразу преодоления древнего ужаса, может быть, Лемурии, - в игру: *игра* - в символизации; это - результат действий спасения где-то свыше надо мной сходящего Логоса; *символ*, или третье двух миров, пересечение параллелей в *крест* с точкой духовного мира в центре: точка - вспыхивает; это - мое спасенное от разрыва "Я"; "*Котик Летаев*" рисует ощущение трехлетнего, которому кажется, что его из бредов через печную дыру вынесли в квартиру, где "папа", и "мама", и "няня" бегут от "этого" (не логизированного "нечто"); оно потом дегенерирует в "буку"; которым пугают меня; но самый страх *буки* уже не страх, а моя игра в страх; я в *символе* вышел из страха.

Так бы я осветил переживания четырехлетнего "*Бореньки*" материалом узваний 30-летнего мужа; познавательные схемы антропософского цикла вполне объясняют мне мой опытный материал в условиях внятного его разглядывания тренированной памятью ("*Котик Летаев*" - опыт тренировки); но и ясно отсюда: без опытного материала материал антропософских лекций - пуст; только в соединении с опытом лекции эти понятны; вне - они суть схоластика; чем мудренее, тем мельче схоластика перерождается в корковом слое мозга; антропософ, если он не *символист*, т. е. если он не умеет производить соединений извне поданного материала с опытом, имманентным жизни его, - явление просто чудовищное; а символист, отвергающий логический генезис своих опытных невнятиц, - дегенерирует в нервнобольного, если он искренен (Блок), либо в аллегоризирующего стилиста, если он неискренен (Вячеслав Иванов). Но я забегаю вперед.

Четырех лет я играл в символы; но в игры эти не мог посвятить я ни взрослых, ни детей; те и другие меня бы не поняли - я в этом убежден; и - притаился (так стал "*эсотериком*" я с четырехлетнего возраста); на мне росли мины и маски; святочная личина открылась в переживаниях мне, пятилетнему; я надел ее; и стал личностью; это было, вероятно, вступлением моим в греческий период; "*Боренька Бугаев*" с того времени сознательно развивал "*мимикри*" среди взрослых; условия его отрочества и даже юношества были таковы, что что-то от "*личины*" приросло к лику индивидуума; в позднейших символизациях жизни и "*Борис Николаевич*", и "*Андрей Белый*", и "*Унзер Фрейд*"

вынужден был изживать свое самосознающее "Я" не по прямому поводу, а в диалекте ритмизируемых вариаций "Я" личностей-личин, из которых ни одна не была "Я"; причина, почему "Я" не изживаемо в личности-личине, уже с семилетнего возраста - предмет мучительных раздумий и игр всерьез, или вариаций поведения.

Неудивительно, что тема в вариациях, идея многообразия, комплексности индивидуума, в чем бы он ни выражался (в мировоззрении, в мечте о коллективе, в упражнениях моральной действительности), стала естественным приращением к теме символа (два ряда жизней, пересекаемых в третьей); триадизм, осложненный плюрализмом вариаций, тональностей, методов, - и идеологическая тема жизни, и мироощущение опыта, и муки моральной жизни, осложненные непониманием моего "Я" на протяжении "47" лет; это "Я" уже с семи лет знало и уже с 17 лет осознало, что никакое "Я" по прямой линии невыражаемо в личности, а в градации личностей, из которых каждая имеет свою "роль"; вопрос о режиссуре, о гармонической диалектике в течениях контрастов и противоречий "Я" в личностях по эпохам развития, по степеням понимания этого "Я" другими, по разным коллективам, в которых приходилось одновременно работать, вырос отсюда; последовательность поведения не в прямолобом усилии впереть индивидуум в личность; следствие такого *"вперения"* - разрыв личности; и не в отрезе себя, одной личности, от градации их, данной в "Я" (элементарное представление о верности себе), а в гармонизации течения *"личностей"* в круге; так проблема моральной фантазии, как режиссура, а не изгнание *"актеров"* со сцены жизни за исключением одного, выявилась как проблема сперва морали ребенка (семи лет), потом, вскоре, и мировоззрения.

И с "7" лет до "47" лет (40 лет!) мое "Я" с удивлением стояло перед другими "Я", не понимавшими проблему многообразия и режиссуры; другие "Я" обвиняли мое "Я" в измене, когда мое "Я" ставило перед ними ту же тему поведения, но в другой вариации; и лишь позднее я понял, что ряд людей действительно не знают конкретно соотношения моралей личности и индивидуума; мораль личности - последовательность как отрезок прямой; мораль индивидуума - стояние среди круга взаимно пересеченных отрезков в усилии на точках пересечения построить гармонию закономерно изменяющейся кривой.

К ужасу моему, я увидел, что большинство людей, на кончике языка умеющих оформить всю бездну, лежащую между индивидуальной и личной жизнями, в проблеме собственной жизни не видят конкретно последовательности и стремления к цельности в отличиях личной жизни от индивидуальной; и - обратно; поскольку индивидуум есть всегда коллектив, постольку в социальной жизни они не имеют никакого представления о *ритме* жизни с другими, оценивая и себя, и других в правилах поведения личности, а не индивидуальности; их утверждения о грехах и достоинствах ближних носят характер действенной превратности, которая и является роковым законом гибели всех обществ, коммун, кружков, коллективов.

Звук об этом узнании мне подан с *"личиной"*, когда мне было пять лет; и в играх с другими детьми; в этих играх обнаружилась уже для меня тема непонимания меня другими; я был *"символист"* (т. е. *третье* нас двух), а многие из детей и почти все взрослые были мне выявлением во *втором* (внешнем) мире их *первого* (внутреннего); это первое было личностью; второе - личиной; между ними лежала прямая линия соединения (из внутреннего во внешнее); я же был в *третьем* (в вершине треугольника): в точке индивидуальности; линия моего поведения от внутреннего во внешнее всегда была проекцией треугольника, эмблемой, знаком, личиной; позднее я жил внутри многогранника, в ряде линий-личин.

Опыт непосредственно данного знания об этом слагался от пяти до семи лет; осознавался всю жизнь; один из крупных моментов узнавания - формула отличия личности от индивидуума, а души рассуждающей от души самосознающей; души с невыраженной индивидуальностью живут в четвертом культурном периоде в 1928 году независимо от того, понимают или не понимают они рассудочно, что индивидуум не личность; поэтому их линия от *первого* (внутреннего) ко *второму* (внешнему) миру -

линия "субъект - объект"; они, будучи субъективистами в переживаниях души, ищут *объективности* во внешнем выражении; но их *объективность* субъективна; какова личность - такова личина; личина, данная в объективном, метода мировоззрения.

Я никогда не был объективен - сознательно, а, так сказать, много-объективен; с "17" лет проблема многообразия методов - проблема вынашиваемой теории символизма; но я не был только *субъективен* (во внутреннем самораскрытии), но - индивидуален.

Так стал я с отрочества убежденным индивидуалистом, что для меня сперва непосредственно, а потом и логически значило: социал-индивидуалистом, ибо индивидуум - социальное целое (церковь, община-ассоциация), а общество - индивидуально в своем "*общем*"; вне знания этого "*in concreto*" общество - труп.

К 1904 году это было менее четкой формулой, которую я многообразно высказывал, но которую читатели (друзья и враги) *не хотели признать*, живя, главным образом, в фикциях одно-личной, а не много-личной социальной жизни. Их социальной проблемой была проблема общества-государства, а личной проблемой - не осознанный четко собственный субъективизм. Усилия, опыты, падения и страдания моей социальной жизни - община-индивидуум; и те же падения и достижения личной жизни - противоречия личностей, как материал к ритмизации их в индивидууме души самосознающей.

Все знаки терминов, мировоззрений, слов, общений от детства до состояния внутри антропософского общества - *выворот* своего состояния среди других; другие казались в своих индивидуальных и социальных выявлениях слишком личностями (неправоммерно субъективными или объективными); я же казался их "*объективизму*" субъективно непоследователен; их "*субъективизму*" - докучно принципиальным; "*непоследовательный принципиалист*" - таким я стоял перед всеми; "*объективники*" от хаоса и аритмии - такими выглядели они передо мною.

Я был "*символист*" от отроческого шопенгауэрианства до зрелой антропософии (включительно); они часто - нет; нас разделяла грань непреодоленных разделений 4-го и 5-го культурных периодов*.(** См. сложное учение о культурах в моей "Истории становления самосознающей души"*)

Эта грань намечалась в конце первого семилетия, когда мое выпадение в третий мир (символов) казалось мне выпадением в грех моего протеста и бунта против предрассудков "*цивилизации*", или внешнего мира (чужих детей, назиданий, квартиры, профессорского быта и т. д.).

Я стал бунтовать, но бунт - утаил.

2

Мои "*символические*" познания расширялись в сложностях утаиваемых игр в "*это*"; так звал я невнятную мне данность внутреннего опыта, перепахивая ее в творчеством познаваемый "*мой*" мир: мир символиста; действительность этого мира - мой познавательный результат; гувернантка, подозревая о скрываемой мною игре, однажды потребовала, чтобы я играл вслух, и я заиграл вслух, болтая *вздор*, долженствующий убедить в простоте и наивности моих игр; она - убедилась; одновременно: чувствуя борьбу за мое "*Я*" отца и матери, заставляющих это "*Я*" по-разному выражать себя, я инстинктивно выдумывал им фиктивное "*Я*", долженствующее удовлетворить и отца и мать; выдумка шла по линии упрощения моего "*Я*"; так появилась во внешнем мире первая личность-личина, или "*Боренька Бугаев*" с удовлетворением принятый родителями, ибо отцу и матери представлялось лишь "*общее*" их воззрений; но "*общего*" было мало меж ними; и оттого: очень "*мал*" умом вышел этот "*Боренька*"; у него не было ничего своего; говорил он "*общими*" местами; родители, слыша в "*общем*" общее им, не замечали малости этого общего, а чужие - заметили; и "*Боренька*" тоже скоро заметил, что его считают чем-то вроде дурачка; он мучился, но "*общего*" преодолеть не мог; ведь индивидуальное выражение требует упражнений в выражении, требует "*своих*" слов;

своих слов - не было: был "*общий*" язык - среднеарифметическое между папой, мамой, гувернанткой и "*Боренькой*"; он им показывал это среднее; оно было меньше действительного Бореньки.

Так жизнь в первом коллективе, в родной семье, развиваясь по линии "*общего*", развивалась по линии не общинной, а общественно-государственной жизни; так "*Боренька*" имел первый опыт узнавания о том, что "*общество*" есть знак насилия, уз, остановки роста индивидуальной жизни; родительская семья была узлом внутренне таимых противоречий и драм; в кризисе семейной жизни он имел опыт первого кризиса; чувство кризиса присоединилось к чувству символа, индивидуума и многогранности; с тех пор оно росло и к 17 годам выросло в чувство кризиса всей обстановки культуры.

Свои познания индивидуум, скрытый под личностью, развивал в усилиях приобщения всего узнаваемого к игре; это значило: трансцендентный преодолевал в имманентное (слова к оформлению приходили, разумеется, после); наиболее яркая игра, давшая сильнейший импульс к жизни, - разыгранный в "*Я*" новый завет (опять-таки около 7 лет); пересечение двух линий в *третье* креста, переживания двух "*я*" в *третьем* были инстинктивно узнаны; символ "*этого*" конкретно логизировался: стал *логосом*; с тех пор в конкретно-символическом и в конкретно-христианском переживании непосредственно произошла спайка в индивидуальном, таимом "*Я*".

Сфера "*символа*" непосредственно стала сферой как-то по-новому ("*игра не игра*") переживаемой религии; впоследствии, лет через 14, эта спайка религии с игрой, осознанной как искусство, и связала студента Бугаева с термином Владимира Соловьева; термин - *теургия*; дело не в слове: слово может быть и *дрянь* и *не дрянь*; дело - в связавшемся со словом *опытом*, имманентном сознаниям: и семилетнего "*Бореньки*", всерьез играющего в Новый Завет, и студента-естественника, бьющегося в усилиях сочетать точность критического взгляда на вещи с "*религией*"; религия в термине переживалась, как пересечение, соединение, связь *этого* и *того* (внутреннего и внешнего), а образ пересечения - символ; закон, или ритм, в получении энного ряда символов, соединений, связей (символизаций, "*религионизаций*") - знак Логоса: Христос; термин "*теургия*" обозначал в эпоху религиозной стадии моего символизма - творческое заново переплавление материалов и образов религиозной истории в нечто, имманентное мне, сквозь меня прорастающее; "*Теургия*", как "*богоделание*"; говоря более внешне, - мифотворчество.

Мне нужен был знак-отделитель от догматизма; слово "*теургия*" - отделяло от догмата.

Лет 7 - 8-ми, переживая сошествие Св. Духа на двух-трех плитках паркетного пола, я, Боренька-символист, сосредотачивал свою *игру всерьез* на *теургии*, осознанной позднее как один из видов символизаций, очень редких и ценных в символизме; в христианских символах я, начиная с Бореньки-символиста и кончая "*Андреем Белым*", видел особый род символов, отличающихся чистотой и благородством; так, в камушках пляжа многие особенно ценят прозрачные камушки, предпочитая их прочим; я видел особую прозрачность в евангельских символах; в них втягивались и мои моральные, и художественные впечатления; другие символы часто раскалывали мои восприятия на эстетическую их приятность и этическую недоброкачественность, или - обратно; тут *краски* и *свет* соединялись в прозрачность блеска.

Так бы и определил мой *игровой* подход к христианству; повторяю: *играл я всерьез*.

Тут же должен оговориться для правильного понимания всех позднейших касаний моих религиозной проблемы; эта проблема весьма не процветала в нашем быту; отец мой, профессор математики, имеющий сложнейшую свою философскую систему, допускал, "*так сказать*", высшую силу и все образы "*заветов*" ставил передо мной со своими аллегорическими "*так сказать*"; его более интересовали проблемы нравственной эволюции человека в религиозных эмблемах; он был решительным отрицателем церкви, догматов, традиций; и ненавидел "*мистику*"; обрядам он не препятствовал, т. е. - принимал священника с крестом из... светских приличий (как не принять человека); и

наоборот: основы естественнонаучного мировоззрения чрез отца, можно сказать, затопляли воздух нашей квартиры; из речей отца и его друзей, профессоров математики, физики, химии и биологии, на меня ушатами изливались лозунги дарвинизма, механического мировоззрения, геологии и палеонтологии; сколько я себя помню, столько же помню себя знающим, что гром - скопление электричества, что Скиния Завета была наэлектризована "*жрецами*", что земля - шар, что человек произошел от обезьяны и что мир *не сотворен* семь тысяч лет назад, а - начала не имеет.

Стало быть: мое живейшее восприятие образов Ветхого и Нового Заветов было восприятие символизма моей души; над *традицией* у нас в доме смеялись; единственная традиционно верующая бабушка была вечно ошучена папой и мамой; мама лишь под конец жизни определилась религиозно; но и она в религиозных образах искала символов, а не наивной действительности; в молодости она отдавалась стихии музыки и светских удовольствий; дяди и тети со стороны отца все были или ярко атеистичны, или индифферентны; тот же индифферентизм характеризовал братьев и сестер матери и моих гувернанток; меня механически обучили двум-трем молитвам и не требовали никаких знаков религиозности; мои игры в Новый Завет я скрыл; традиция, которую мне в ранних годах старался привить отец, - традиция естествознания; пяти лет я знаю, не умея читать, всю зоологию Поля Бэра почти назубок; и в период от 11 до 14 лет пережил сильное увлечение естествознанием, мне доступным, мечтал об естественном факультете; моя "*цивилизация*" была светской; жизнь же религиозных символов протекла в глубоко скрываемом ото всех мире моих символов ("*игра всерьез*"); позднейшие попытки студента Бугаева по-своему вникнуть и по-своему осветить вопросы церковности, традиции и православия под влиянием Соловьевых я переживал как бунт и самостоятельный вырыв из "*традиций*" нашей квартиры, профессорской, издающей исконный запах "*традиционного*" для меня так называемого вольномыслия.

Никто мне не открывал глаз на дарвинизм, палеонтологию и т. д.; они были открыты всегда, вобранны воздухом общений с отцом и внимательным вслушиванием в споры взрослых профессоров, друзей отца.

Делаю эту оговорку, чтобы было ясно, откуда следует видеть мой период религиозности, "*мистики*" и т. д.; это был период сильнейшей революции против устоев позитивистического быта среды; в этом - различие в наших подходах к религиозной догме с Соловьевыми; они все же не до конца видели, до какой степени я был в период моего увлечения Соловьевым "*религиозизирующим*" символистом, а не "*символизирующим*" верующим. Моя вера с первых лет юности была бунтом дерзания, питаемая волей к новой культуре, а не смиренным склонением, питаемым богомольностью.

Вот почему мои "*подмигивающие*" мистики юношеской "*Симфонии*" определялись мной как люди высшей, многострунной культуры, окончившие два факультета; только такие в моем представлении имели права дерзать на подход к "*Апокалипсису*"; это все люди-бунтари, люди в "*пику*", если и верующие, то - *по-особенному*.

Я сам, студент-естественник, работающий в химической лаборатории и прошедший сквозь анатомический театр, - был таков: Оствальд и "*Основы химии*" Менделеева - в одной руке; "*Апокалипсис*" - в другой; если бы "*Основы химии*" и литература по дарвинизму не были бы моим чтением, я не позволил бы себе писать в таком откровенно религиозно-символическом тоне, в каком, например, написались статьи "*Священные цвета*" и "*Апокалипсис в русской поэзии*".

Возвращаюсь к детским годам.

Затаив в себе свой, *третий* мир, назидаящий меня *игре* в символы, я все, что ни узнавал от взрослых, а также из книг, проводил через свою душу: во все это выигрывался; мои игры в период 8 - 9 лет: я был Гераклом, "Кожаным Чулком" Купера, Фингалом и... инженером, заведующим системой плотин в Голландии, Скобелевым, немного позднее Юлием Цезарем, деятелем в римском сенате (мои посещения классов гимназии приурочивались к посещению мною сената); все, что я узнавал, я пропускал сквозь себя,

игрой вживаясь в узнанное; и - подглядывая сквозь игру всерьез то, что превышало мой возраст; с 9 лет многообразия моих героических игр (я - и Скобелев, и - Суворов, и - гроза ирокезов и т. д.) выдвинули проблему их сочетания в единую игру, где бы отдельные людификации ("я в ролях") образовали бы круг вокруг моего индивидуума; пришлось мне сложить легенду о некоем "он", совмещающем в себе все, что есть; и "ему" (т.е. себе самому) я перекладывал все прочитанные мифы и события моей обыденной жизни: в проявлении "его" жизни; "он" пух на мифах, разрастался в годах; игра моя стала к 12-летнему возрасту игрой перманентной, игрой в неинтересную жизнь "воспитанника Бугаева; игра в "играх" сложнела и разрасталась; след ее потерялся для меня лишь в университетских годах, когда "миф" моей жизни и жизнь мне открытого второго "я" как-то серьезно слились; едва погасли следы "его" за моими плечами, как впереди, перед глазами, уже стоял "писатель", скоро ставший "Андреем Белым"; "Андрей Белый" был своеобразным синтезом личных вариаций Бориса Николаевича в эпоху университета, как "он" был интереснейшим синтезом вариаций "Бореньки" и "гимназиста".

Скажу лишь, что для своих, для особых целей мной вырезаемых кукол я с сожалением сжег в... 7 классе гимназии, когда уже не на шутку врезался в чтение философий и писал стихи; "он" был прохождением "символизма" в школе первой ступени; "Андрей Белый" появился на пороге школы "второй ступени".

Четырехлетний Боренька вживался в суждение символическое "нечто багровое"; "Андрей Белый", вынашиваемый соловьевской квартирою, упражнялся с С. М. Соловьевым в гносисе символического суждения: "нечто... белое..." Оттого-то ему и выбрали псевдоним "Белый"; формы упражнений были различны: детская игра, теософский гносис цветного восприятия; суть же под формами была - та же; и даже тема перемены интереса в гносисе от красного к белому связалась с особым впечатлением от библейского текста: "Если дела ваши как багряное, как снег убелю".

Отсюда диалектика моей юношеской световой теории (от красного к белому), высказанная символически в семи этапах семицветья статьи "Священные цвета". Здесь попытка фиксировать семь моих юношеских мироощущений; одно пережито в четырехлетнем возрасте; другое в возрасте 19 лет.

Все "это" выветвилось наружу, в культуру литературы, - из детской игры: я пришел в символизм со своим "символизмом"; литературную школу я измерял и взвешивал по-своему.

3

С четырех до семнадцати лет я рос эсотериком; мой символизм - утаиваемое от других; долгое время сфера утаимого была сферой утаиваемого поневоле, ибо ни одно из слов моего словаря не нарекало его никак; "игры" мои кое в чем приоткрыл я кормилице, Афимье Ивановне Лавровой, когда мне было 14 лет; кое-что она понимала; и мы играли вместе; уже с детства мне стало ясно, что "это", во мне живущее, - особая культура души, предполагающая особый орган, и что имеющие этот орган - и утонченные и простые люди; утонченных я встретил позднее лишь; первая простая душа, со-символистка, - кормилица, человек весьма ограниченный в "светской" культуре; и даже - безграмотный.

Подрастая, я стал прибирать к "этому" некоторые элементы культуры, извне западавшие в мир немых жестов моих; пяти-шестилетний я знал, что "это" преформируется и членится во мне под влиянием музыки (Шопен, Шуман, Бетховен), чтения немецких стихов (Уланд, Гейне и Гете), сказок и разговоров с горничной Аннушкой об "Откровении" Иоанна (последняя передавала мне ряд старообрядческих легенд).

В стороне от этого шла моя "цивилизация", т.е. забрание материала, подаваемого мне взрослыми в виде узнаваний, что земля - шар, а гром - скопление электричества; тут начинался быт профессорской квартиры с ее правилами поведения, обязательным показом

таких-то чувств и прятанием других; сведения из "цивилизации" я жадно схватывал, а быт ее воспринимался неудобоваримую пищу, чем-то вроде обязательного жевания углей; и я отхрустывал ровно настолько углем, чтобы не показалось странным мое мычание; отхрустывание - Боренька, строящий словами свой социальный мост к детям и взрослым.

Я рос одиноким; детей не знал; оттого и не умел с ними обращаться; они - дразнили меня.

Несколько раз ворвались из пресного внешнего мира ярчайшие переживания: подслушанное чтение вслух *"Призраков"* Тургенева, *отрывков из "Демона"* и *"Клары Миллич"*.

Но все же - мало свежего материала, необходимого мне для культуры *"этого"* во мне, поступало из внешнего мира; пустыня вокруг меня разрасталась: домашними неприятностями, страхом перед чем-то, что стрясется в нашей семье, скукою преподавательниц, ощущением полной бездарности при попытке отличить существительное от прилагательного, неумением понять, что есть нумерация; и после - Сахарю классов с неизменной невнятицей определений разницы *"генетивуса объективуса"* от *"генетивуса субъективуса"*, по Элленду-Зейферту.

Становилось ясно, что я, дразнимый детьми, считаемый дурачком чужими взрослыми и сжатый узами нашей квартиры с ощущением полной своей бездарности в ней - долго не проживу *эдаким способом*; случится нечто непоправимое, разорвется личина-личность, выступит из Бореньки *"это"*, и все в ужасе ахнут, потому что *"это"* покажется им либо преступностью, либо безумием; чтобы отсрочить миг, я стал пристраиваться к *"цивилизации"*; в этом пристроении сложилась и первая моя стилизация, сошедшая преудачно: я стал первым учеником; оказывается, это - легко; меня все хвалили; и я очень гордился успехами не по существу, а потому что стилизация мне удалась; я, бездарный в науке, оказался мальчиком с пониманием, чуть ли не с талантом; два года я тешился удачей; с третьего класса она надоела мне, с четвертого - перестал учиться бессмыслицам (Элленду-Зейферту, хронике исторических дат и греческим исключениям), но катил *мимикри* прилежного воспитанника перед собою, как колесо, до... седьмого класса; после же переменял стиль *"прилежного"* на *"оригинала-декадента"*; странно: большинство из учителей считалось с моими обоими стилями: уважали *"прилежного"* в неприлежном и робели, опасливо озираясь на... *"декадента"* (их так было мало еще).

Был момент, после которого версия о моей бездарности упала во мне; я увидел в себе свой индивидуум; переживания эти связались мне с чтением Упанишад; это было в 1896 году; неверие в свои силы сменилось ощущением силы *"Я"*; как это ни странно, - я осознал себя волевой натурой; я понял, что беру не лобовую атакою напролом, а мягкой уступчивостью и тем, что скоро мне осозналось как многострунность; уступая перед прямолобым упрямством людей примитивно-волевых (твердые глаза, квадратный подбородок и сокращение мускула), я обтекаю и справа, и слева: обхожу с обоих флангов в моменты кажущегося безволия и мягкости; этим и обусловился в душе смутный позыв к прорыву моему во внешний мир со *"своим"* словом о мире; в 1895 - 1896 годах это переживалось как жест; и это сказывалось во всем: парадоксально защитил *"декадентов"*, и вместо смеха - уважение; набросал для гимназического журнала в первый раз в жизни отрывок в прозе (с *"настроением"*), а товарищи удивились, сказали: *"художественно"*. Сыграл *"Деция"* в домашнем спектакле; и - ничего; придумал из ничего античные костюмы; и опять - сошло; к чему бы, шутя, ни подходил, - выходило; выходило с фокусами, которыми потрясал бабушку, и с умением, взлезая на четыре стула, поставленных друг на друга, стоять на верхнем с горящею лампою на голове.

Профессии еще не виделось - никакой; стоял на распутье; но знал, что, куда бы ни направил волевою энергию *"этого"*, моего, будет по воле моей; в 1895 году я стоял на пересечении многих деятельностей, как бы прицелясь в линию будущих лет; став в этом пункте, я вижу ясно, что я мог бы быть: философом, поэтом, прозаиком, натуралистом, критиком, композитором, теософом, циркачом, наездником, фокусником, актером,

костюмером и режиссером; куда бы ни направилась воля моего индивидуума, то и двинулось бы по линии лет, развивая свои приемы и стили; и впоследствии, выбрав прицел и сказав твердо *"буду писателем"*, я сознательно в тылу за собой оставил возможность тактических отступлений к истоку воли; имел волю сработать свое ремесло, я имел волю к резерву: при случае переменить ремесло. И впоследствии я про себя не верил в легенды о безвольной мягкости *"Бориса Николаевича"*, отрицающего принципиально биологическое выражение воли: прямолобый напор; сумма моих волевых действий не в волевой прямолобости Б. Н. в проведении своей личной линии в каждом из пересекаемых коллективов, в себя расширении, себя растворении в каждом для окраски его; интенсивность этих окрасок в градации коллективов, достигаемая в обезличении волевой *"личности"* Б. Н., обратно пропорциональна этому обезличению; скажу: я был влиятельней в *сфере* своей, нежели в центре сферы или личности; сумма этих центров (сумма книг, лозунгов и т. д.) менее суммы незаметных углов преломлений жизни коллективов, в которых я работал; иногда я влиял не из себя, а из других на целое коллектива.

Скажу: я более волевой человек, чем мыслительный или эмоциональный; но моя воля имеет *мягкое* выражение; она в сфере моего индивидуума, ставящего и убирающего вовремя свои модификации-личности; представления наши о *"волевой натуре"* - представления героические; *"герой"* - волевая натура греческого периода культуры; такой *"герой"* гибнет как личность, перевоплощаясь в наш период жизни; волевые натуры нашего времени проходят как не имеющие личной воли; этой азбучной истины нашего времени не понимают пародирующие из себя *"волютаристов"* безвольные индивидуальности; такую индивидуальностью я, например, считаю Валерия Брюсова, одно время поставившего себе девизом меня *"сражать"*; этот спорт его длился в эпоху 1904 - 1906 годов; и, однако, есть указания его о странном факте, что он считал себя... побежденным мною (*"мифизация"* им наших отношений в эпоху 1904 - 1905 годов в его романе *"Огненный ангел"*, где он меня *"удостоил"* роли графа Генриха).

Ритм доверия к миру *"моего"*, ставшего миром моей воли, мне открылся внутренне чтением *"Упанишад"*. *"Само"* осознало себя; мои игры всерьез, как упражнения в самосознании, как йога жизни, впервые предстали передо мной тогда именно; и стал приоткрываться первый идеологический отрезок в тенденции забронировать выход во внешний мир: от Упанишад к Шопенгауэру - отрезок пути от 1896 года к весне 1897.

Этому внутреннему переходу игры в воление соответствует и внешний выход мой в мир квартиры М. С. Соловьева, где я укрепляю впервые свою позицию как имеющего *свое* слово; здесь мне открыт выбор слов нового словаря: словаря искусств; и между прочим: мне попадает слово символ, как знак соединения *"этого"* и *"того"* в третье их, вскрытое в *"само"* моего самосознающего *"Я"*; слова *"символ"* и *"символизм"* я механически заимствую от французских символистов, не имея никакого представления о их лозунгах; мне до них и нет дела; у меня - лозунг свой: мое *"само"*, вчера бывшее *"этим"*, а сегодня ставшее *"Я"* в овеянности Упанишадами; произведения символистов (стихи Верлена, *"Serge chaude"* Метерлинка) отбрасывают меня к странным играм моим в *"нечто багровое"*; брюсовские же *"декадентские"* стихи меня волнуют, как воспоминания о доисторических бредях моих первых сознательных миггов, давно преодоленных в символизациях; если бы я провалился в *"бред"*, не имея стихии *"символа"*, или *третьего* (*"бред"* - хаотическое *"первое"* без *"второго"*), я попал бы в миры *"мертвецов, освещенных газом"*, и *"бледных ног"* (я кошмары подобного рода видывал в детстве); стихотворения первых *"символистов"* в эпоху 1897 - 1899 годов воспринимаются мною, как *"кошмаризм"*, а не *"символизм"*; это - мир *"декадентства"*, *"болезнь чувствительных нервов"*; здесь нет умения владеть хаосом.

Декадентством я заинтересован: не непонимаю его; но мое *мotto* того времени: оно должно быть преодолено; я волю большего. В эту эпоху я увлекаюсь стихами Жуковского и Бальмонта; но Фет заслоняет всех прочих поэтов; он открывается вместе с миром

философии Шопенгауэра; он - шопенгауэровец; в нем для меня - гармоническое пересечение мирозерцания с мироощущением: в нечто третье.

Конечно, он для меня - "*символист*".

С 1897 года начинается эпоха моего бурного литературного самоопределения; оно началось с самоопределения философского полгода ранее; в мою лабораторию сознания одновременно вливаются: Белинский, Рескин, символисты и "Фритъоф" Тэгнера, Ибсен и Достоевский, Беклин и Врубель, Григ и Вагнер; вообразите взворот - стилей, догадок, познавательных проблем; я - вымыт; из уст моих бурно хлынул на меня самого удививший поток слов, направленный одновременно и к назиданию товарищей по классу и барышень Зубковых, которым проповедую буддизм; я осмеливаюсь не соглашаться: с отцом и с профессором Корсаковым; "*Боренька*" лопнул сразу; и "*Валаамова ослица*" - заговорила; все - озадачены: не понимают, подсмеиваются, но... как-то осторожно; и все - меняют стиль: смех смехом, невнятица невнятицей, но - жест, поза, убедительно вздетый палец и решительное отрицание всех критериев вкусов и того, что считается полезным и нужным, - впечатление производит; мои товарищи - приверженцы того или этого; я не только приверженец "*декадентов*"; я - выступающий с проповедью от самого себя.

С этим надо считаться.

И в восьмом классе гимназии с "*декадентом*" Бугаевым, уже читающим Канта и имеющим что ответить и Смайльсу, и Конту, и Спенсеру, считаются: воспитанники, учитель русского языка и сам испуганный латинист (некогда - гроза класса).

Я пишу стихи, ультра-декадентские отрывки в прозе, громадный критический дневник (все - потеряно); но я - не декадент; и даже - не шопенгауэровец.

Я - сознательный символист; и по-своему переделываю систему Шопенгауэра, пусть во внешне беспомощных усилиях, но внутренне - в усилиях оригинальных; эстетика Шопенгауэра мною используется своеобразно, заостряясь в символизме; мое древнее "*это*" - воля, "*то*" - представление; соединение "*этого*" и "*того*" - не закон мотивации, как у Шопенгауэра, а символизационный ритм себя строящего символиста-индивидуалиста; выход к Гартману мной отвержен; разбор индивидуализма Ницше - на очереди; но уже ясно, что символизация Ницше при помощи сверхчеловека неприемлема *априори* установкой моей позиции: сверхчеловек - трансцензус, подкид и выкид человека в то, чего в нем нет; у меня есть высшее, *третье*, внечеловеческое в человеческом; сверхчеловек просто - индивидуальное "*я*", как сверх личность; мы все - сверхличны; мой имманентизм, соединяясь с думами о "*Само*", "*Духе*" и о "*Христе*", пережитом некогда в символизациях арбатской квартиры, под влиянием разговоров в квартире Соловьевых и встреч с философом Соловьевым, главное, под опытом моих индивидуальных переживаний, соединяющих образы современности с "*Апокалипсисом*" и Достоевским (конец мира, пережитый в Троице-Арбатской церкви и потом на Воронухиной горе в Москве), - все это опытно предесцинирует будущее преодоление 1) шопенгауэрианства, 2) ницшеанства по линии слов: *символ* - *теургия*; слово последнее встретится скоро; в нем я найду термин для выражения максимального напряжения символизма в личности, расширяемой в индивидуум (т.е. в "*сверх-индивидуум*", по Ницше); "*символизм*" в общем виде - ток волевого напряжения в процессе разряжения его во внешний мир; искомое слово "*теургия*" (не найденное еще) - символический ток высокого напряжения, преобразующий действительность, коллективы и "*я*"; преобразование это выглядит концом мира для противящихся процессу преобразования; конец мира - революционный шаг: удар тока по спящим; второе пришествие - в "*я*", через "*я*" - то же: в аспекте положительного раскрытия процесса преобразования.

Теургия - ритмы преобразования: в нас.

Вот - мой ход на религию, недостаточно учтенный Соловьевыми и "*соловьевцами*"; мой ход на всю линию религии - только через символизм, катастрофизм, взрыв: "*Се творю все новое*" - мое мотто; и этим: творю новое "*я*" и новое "*мы*"; мы - коллектив, община; она религиозна в смысле насыщенности ее волевой энергией символизма, который теперь для

меня - йога действий над "я" и йога ритмов всех "я", перерождающих сперва свой индивидуальный центр, теургическую коммуну, или точку приложения рычага, плавящего мир.

Тут уже без достаточно собранных логических оформлений собраны мной все темы моей жизни; тема *третьего* мира, царства символа, индивидуума, тема многострунности: многие личности, строящие "Я", образуя индивидуума, по тому же закону видоизменяют сложение индивидуумов в индивидуум высшего порядка, или церковь-коммуну (тут - влияние идей отца о монадах многих порядков в динамике переложения и сочетания их); если бы в те годы я наткнулся на формулу определения церкви Макарием Египетским, я бы сказал: "Вот, что я пытаюсь выразить в развитии своего символизма в социальную фазу". Привожу цитату Макария: "Церковь можно разуметь в двух видах: или как собрание верующих, или как душевный состав. Посему, когда церковь берется духовно - в значении человека, тогда она целый состав его, а пять словес его означают пять... добродетелей" (Беседа 37-я "О... духовном законе"). Трудную духовную истину о церкви, как пяти принципах ритма в человеке, я не умел сформулировать, но - ощущал. И если бы я знал в те годы учение о числовых индивидуумах как комплексах, то я выразил бы свою социальную символику в аритмологии (этой социологии математики).

Я волил в представлениях о религиозной общине преодоление духовно-революционное всех традиций представления, понятий общества, личности, искусства, банального индивидуализма в творимую новую культуру; это новотворимое энергией символизма - религия, не имеющая ничего общего с миром традиционных религий; такая религия - с усилием вынашиваемый мной, юношей еще, мой символизм, требующий выволакиваний его из лично-индивидуальной фазы (символизм под личиной личного) в индивидуально-социальную фазу.

Эта *фаза*, поволенная мною, и есть мой влом с "*моим*" в общество; я, как символист, если не являюсь социальным реформатором (вернее - преобразователем), - не символист, а субъективист; дело не в личных усилиях Бориса Бугаева, а в целеустановке индивидуума моего: мое "*или - все, или - ничего*".

Вот что отделяло меня до присоединения к группе московских символистов от этой группы: воля к преодолению "*маски*" символизма, налета "личности" на нем ("субъективной имажинации в терминах Штейнера"); и вот что отделяло меня не только от всех примесей традиций и историзма в официальной церковности, но и в философии Владимира Соловьева, когда я еще, так сказать, смутно чалил на нее; термин "*теургия*" был взят мной потом в новом смысле; лишь в ряде годин сумел я отделить мое взятие "*термина*" от взятия "термина" Владимиром Соловьевым; необычайная трудность в формулировке столь сложной позиции юношей, необычайность размаха в дерзости перевернуть вселенную "*вверх дном*", опять-таки не осознанная до конца, - предесцинировали ряд недоразумений моих во встречи с людьми и ряд недоразумений с собою в процессе логического раскрытия своей концепции; отсюда - беспомощность ряда статей, уже поздней мной написанных; беспомощность - в ненахождении выражений, а не в сознании своей позиции в себе.

В восьмом классе эти лозунги моего символизма еще в полной мере мимикрировали под формую чужих систем и идей, которые я прилаживал к своему миру. В 1899 году Соловьев указывал мне на направление моего плавания по морю жизни; направление - "*Апокалипсис*": "*Се творю все новое*"; компас, руль - зависели от меня; руль - умение владеть проблемой творчества; стрелка компаса - символизм, притягиваемый магнитом нового мира (говоря максимально), или новой культуры (говоря минимально); между максимумом и минимумом - мои хитрейшие модуляции в приоткрывании и прикрывании лозунгов; а суденышко, отстраиваемое наспех из ветхого материала, или "*Арго*", плывущий за солнцем жизни, - моя заботливая починка философии Шопенгауэра на свой лад, где "*нессимизм*" - мимикри, или защитный цвет официально модной философии того времени; собственно, я проповедовал апокалипсизм под флагом

катастрофизма, умеренного минимально в трагизм, в антиномизм *"этого"* и *"того"*, преодолеваемый в символе.

Таков я в смутном волении себя, гимназиста; пока еще я символист *"по-своему"*; единственный спутник мой в символизме, не до конца проникающий символизм, маленький С. М. Соловьев.

Ни с кем из тогдашних символистов я не знаком; да и, признаться, не интересуюсь ими; они - *"декаденты"*. Но предсценирована моя ближайшая встреча с Владимиром Соловьевым, Ницше, Мережковским и Блоком.

Я попадаю на линию Шопенгауэр - Вагнер - Ницше (по линии преодоления пессимизма в индивидуалистический символизм); я, поклонник Ибсена, Достоевского, - *трагик*; меня несет к темам "Происхожденья трагедии" Ницше; но мой *"апокалипсизм"* заставляет брать меня проблему трагедии личности шире; она - симптом общего кризиса; но этот же кризис есть симптом наступления новой эры, следующей за ним: *"Се творю все новое"*. Я брежу старцем Зосимой и князем Мышкиным; в классической линии трагического мирозерцания тесно мне, потому что моя проблема - проблема антиномии между субъективистическим символизмом и религиозным.

Таким я появляюсь в университете.

Дарвин, механицизм, проблема естествознания взвивает новые водовороты идей: куда повернуть руль моего "Арго". Как примирить, с одной стороны, борющихся в моей душе Соловьева и Ницше; с другой - самую проблему их борьбы в душе с проблемой естествознания; Соловьевы тут не помогут; естествознание чуждо им; опять-таки: ориентирует сперва линия, связанная с Шопенгауэром, моей центральной станцией идеологических экскурсов; эта линия, с одной стороны, волюнтаризм (Вундт), допускающий переложения себя в энергетику (Оствальд); с другой - *"Философия бессознательного"* Гартмана, отдающая много места проблемам естествознания; если преодоление Шопенгауэра *вперед* - символизм, то базирование его в *назад* - естествознание.

Новый круг мыслителей вычерчен мне в университете: Гартман, Гефдинг, Вундт, Оствальд, потом Ланге; они суть средства, формирующие мне мою философию естествознания, питаемую уже из специального чтения: Гертвиг, Катрфаж, Делаж, Дарвин, Геккель и т.д. Позднее сюда присоединяется частично Спенсер.

Здесь уже, с первых курсов, определяется и проблема моего мировоззрения: проблема переведения стрелок с одних рельс мысли на другие; рельсы - методология; этих рельсовых путей много: 1) частные науки (физико-химические и биологические) с их *частными* философиями; 2) параллелизм и волюнтаризм, 3) трагизм, индивидуализм с обоснованием в них символизма, 4) соборный символизм (проблема коммунизма и теургизма). Меня занимает проблема со-существования многих путей и установление порядка в преодолении одних путей другими; многоступенчатость познания стоит предо мною; но рельеф - туманен; стрелки, пересекающие параллельные рельсы, всюду в пересечении рисуют мне ножницы: *то* и *это*; задание - всюду; преодолеть *то*, *это* - в треть; треть же - *символ*.

Так символизм в эти годы - проблема ножниц и антиномий, подымаемая на плечи, как крест, - с обещанием: преодолев смерть на кресте, воскреснуть в новой, воистину новой, человечеству нужной мировоззрительной сфере: в сфере символизма, как критического мировоззрения.

Теория знания символизма еще далеко не ясна, но я переживаю весь пафос искания ее и утверждения ее: она - должна быть; она - золотое руно, к которому чалит мой "Арго". Я не обещаю легко выпрыгнуть из *"ножниц"*, которые - следствия веления моего себе: пересечь линию мысли в разрешении многопутейности в иерархию познаний и творчество; самое мировоззрение в этом решении - поволенный *"путь"*: выйти из трагизма границ познания; таким я вижу себя; но не таким видят другие меня; они видят меня не в усилии преодолеть критически *"ножницы"*, а видят - раздираемого *"ножницами"*; *"ножницы"* -

торчат из меня: я их не утаиваю; многие объясняют их - противоречивостью моих устремлений и их неувязкою; Соловьевы не понимают, для чего я отстаиваю естествознание; отец, ценящий меня именно в моей линии естествонаучных мыслей, не понимает, при чем эстетика, Шопенгауэр и Соловьев; мой товарищ по курсу художник Владимиров не понимает моей философии (берет по линии естествознание плюс эстетика); более понимает меня в проблеме ножниц А. С. Петровский, товарищ по курсу; и с 1899 года между нами начинается ряд живых мировоззрительных бесед.

Понятно, почему я вперен в анализ антиномий ("Я" и "мы", наука и религия, Ницше и Соловьев, богоборчество и "*Апокалипсис*", гибель культуры, преображение жизни, представление и воля, Аполлон и Дионис, пространство и время, зодчество и музыка, сознательное и бессознательное, витализм и механицизм, Декарт и Ньютон, теория эфира и теория тяготения и т.д.); в поисках пересечения я старательно, так сказать, сплетаю из противоречий венок; и он уже достаточно колюч для меня: венок из терний; выход не в отрезе от сложности - в гармонизации; но прежде всего - установка порядка вопросов и граней вопросов; синтез не в этом соположении, а в конкретном пересечении, не в "*сюнтитэми*" (сополагаю), в "*сюмбалло*" (соединяю).

Мне уже ясно, что путь нового соединения - в сложении новой культуры; то - путь поколений, а не - написанье системы; но этого не понимает никто из тех, с кем дружу; они видят во мне упорядоченность в одной из многих, мной намеченных линий; для Владимирова благополучна моя эстетика; для Соловьевых - религия, для отца - естествознание (он очень гордится, что профессор Умов оценил мой реферат "*О задачах и методах физики*"); но ни для кого не благополучен во мне тот факт, что я не довольствуюсь эстетикой, религией и наукой, а выдвигаю по-своему проблему цельности под формой символизма; в моих "*ножницах*" не видят точки пересечения двух линий в третью, что вполне сказывается в перемещении центра споров с Петровским от 1900 года к 1901 году; в 1900 году Петровский нападает на проблему символизма во мне, так сказать, справа: от скепсиса Ланге, естествознания; ему видится "*мистика*" и туман в религиозных акцентах моей проблемы; а в 1901 году, в несколько недель перелетев через "*ножницы*", он уже оспаривает меня слева: от ортодоксальной религии; оспаривает опять-таки мною волимый символизм на базе критической философии.

Мне приходится отбиваться и справа, и слева, и спереди, и с тыла; это - бой за действительную точку пересечения моего мировоззрительного многогранника; так я подыскиваю бронировку этого центра, символа в лозунгах: 1) многорядности знаний, 2) ограничения познанием знаний, 3) переложения и сочетания формул знаний друг в друга для построения эмблем смысловых фигур, 4) преодоления отвлеченного познания в мудрость символизма на этом пути.

Теза, внесение которой в символизм принадлежит мне (в 1904 году), вынашивалась в 1900 - 1902 годах, в бытность мою студентом: *символизм плюс критицизм*; и никогда: *символизм минус критицизм*.

Сам символизм в своих поступательных движениях акритичен, потому что он мудр, а мудрость - гиперкритична; но в действиях отражения нападения с тылу символизм превращает самую философию критицизма в меч, падающий на догматику, откуда бы она ни шла (от материализма или от теологизма).

Мне теперь ясно - до ужаса: я был - один, как перст, а один - в поле не воин; но я тешил себя социальной фикцией, будто бы есть какие-то друзья, которые меня тут именно понимают; меня *тут именно* не хотели понять: ни Владимиров, ни С. М. Соловьев, не говоря о товарищах по курсу; и не понимали впоследствии: Мережковские, Блок, Брюсов и Вячеслав Иванов; отсюда - постоянная тема себя *снижения* именно в этом пункте и добровольный ракурс пространственных, так сказать, представлений о символизме в плоскостных проекциях - таких-то для Брюсова, таких-то для Блока; иногда этот вынужденный подгиб себя под других, от нежелания другими выпрямить во весь рост проблему, переживался как нечто изнуряющее до крайности; и почти - унижительное;

отсюда этот тон мой ко многим с *"извините пожалуйста"* и с *"так сказать, согласен"*; он - от нежелания обидеть человека указанием на его мировоззрительную плоскость и от надежды постепенно, бережно и нежно раскрыть ему глаза; так начинал я возиться с людьми; впоследствии всего сказывалось, что *"извините пожалуйста"* принималось за чистую монету; какой-нибудь очередной *"друг"*, попутчик в отрезке пути, на этом тоне моего бережного отношения к его ограниченности строил тон ничем не оправдываемого превосходства и *"потрепательства по плечу"*, что позднее приводило к естественной консеквенции; нога того или иного *"друга"*, снисходительно легшая на мое плечо, скидывалась резким движением; и наши отношения вступали в очередную фазу моего якобы *"бунта"*. Но бунта - не было. Бунт основной - в том, что самоуверенное трактование меня в искажающей меня *"личной"* проекции подходило к границе допустимости, после которой *"минимализм"* мой на почве бережности к другому сменялся толчком *"максимализма"*, скидывающим каблук *"друга"* с моего плеча. Бывали отношения, которые кончались внезапно по закону пословицы: *"Посади свинью за стол, она и ноги на стол"*.

4

В 1900 году я менее всего заинтересован *"маленькими"* для меня делами *"скорпионовской"* группы поэтов; Брюсов мне нравится после третьей книги стихов, но я его считаю более всего декадентом, а не символистом. Мне не до *"Скорпиона"*, когда Дарвин, Ницше, Соловьев, Ибсен и подымающиеся Мережковский и Розанов стоят на моем пути; надо во всем разобраться, поставить штампы *"наше"*, *"не наше"*, *"по дороге"*, *"не по дороге"*; умирает Владимир Соловьев; падает задание конкретно разобрать рельеф его мысли в рельефе моей проблемы; я чувствую и на своих плечах, так сказать, наследство философа, тем более что *"Боря Бугаев"* после личного объяснения с покойным *"уважаем"* в соловьевской квартире, где он кипит и волнуется за какое-то *"мы"* строимой им в воображении группы; новая задача: переплавить философию Соловьева в путь жизни *"я"*, в конкретный символизм и этим преодолеть отвлеченные начала его мысли в действительно положительные начала творческой культуры по линии *зари*, указанной им в стихах (проблема Софии, как индивидуума и как группы-коммуны церкви, разумеется, не в догматическом аспекте), и по линии уяснения реального кризиса, им указанного в *"Трех разговорах"*; и во-вторых: вскрыть антиномию Соловьев - Ницше в точке преодоления; линии преодоления: конкретизация идей Соловьева или - в раскрытии их в *"я"*; обратно: раскрытие *"я"* у Ницше в *"мы"* соборного символизма; все это - подчеркиваю я Соловьевым; я подчеркиваю: Мережковский в принципе многое видит в проблеме; тут я делаюсь *"подозрителен"*: Соловьева трогать нельзя; и чужда задача: забронировать проблему моего символизма естественнонаучною базую; это - забота моя о *"бронированном кулаке"*, необходимом для завтрашнего выступления против наивного позитивизма: бронированными физикой Вундтом и Гефдингом бить по Спенсеру; здесь пробив брешь, ввести в брешь лозунги критического символизма, чтобы тяжелой артиллерией, избивая догматы, открыть дорогу гиперкритическим, творческим действиям новой культуры: *"теургии"*; веяния этой культуры с 1901 года становятся и лично мной переживаемым опытом, преисполняющим надеждой.

Об этой надежде не раз писал, называя ее *"эпохой зари"* (1901 - 1902 годы).

Я смутно переживаю духовный мир в имагинациях, подаваемых мне самой действительностью (а не в субъекциях художественной грезы); в этом - оригинальность моих художественных попыток того времени; декаденты - переживают грезу, часто деформируемую в бред; мы, символисты, имеем корень имагинаций - в символах времени, которые учимся так или иначе читать; в своеобразности чтения, в знании источника *"письмян"* (не сон оне) - своего рода эсотеризм некоторых моих сверстников, будущих попутчиков в символизме; начинается эпоха встреч с людьми и удивительное узвание, что

наше субъективнейшее - обобществимо, и в этом обобществлении начало *жаргона*, состоящего в мимике по-новому произносимых слов ("*символы не говорят, а кивают*"); словами кивали друг другу мы, минуя наши личины-личности: от индивидуума - к индивидууму; индивидуальное - неизбежно в *общее* значение слова; общие слова - пусты; и тем не менее - иные субъекции обобществимы в необщем смысле: обобществимы в коммуналке.

Так начинается тот именно Символизм в специфически интимно-социальном смысле, о котором, как об эзотеризме, сказал Александр Блок в 1910 году; этого оттенка знаний не было у французских "*школьных*" символистов; и его не было у "*скорпионов*". В 1901 году вырабатывается особый ритм восприятий, который дает возможность в ближайших годах по-особому встретиться, "*коммунально*" встретиться: мне и С. М. Соловьеву с Блоком и с матерью Блока; Петровскому с Соловьевыми; мне с Метнером и т.д.

Люди - различны; мировоззрения - различны; исходные пути - разные; а горизонт предстоящего общ<его> в индивидуальнейшем; индивидуальнейшее и есть итог преодоления расщепления меж субъективным и объективным в *третье*; третье, индивидуально строимое из симптомов времени, - как будто общее достояние всех нас, выращивающих новую культуру.

Это - не мировоззрительный лозунг, а опытное узвание того времени; так, как Блок пишет о весне 1901 года, могли бы написать разные люди до этой весны и по-разному переживавшие время; и после - разошедшиеся.

Подчеркивая *опытный момент* узвания о том, что индивидуальный опыт обобществим в символизме; и в основе его лежала уверенность, что символизм - путь; не объясняю здесь этого факта, но ставлю на вид: *факт был*.

В коммунизме переживаний - зря, весна, соборность символизма; в позднейшем распаде его - его крах.

Этим обусловлена и ретушь к моим лозунгам того времени (ретушь на "*опыт*"); критический меч и естественнонаучное забрало символизма - тактика: походка его вступления во внешний мир: Кант, Шопенгауэр, Оствальд, "Монадология" отца; но сквозь забрало должны подавать знак *глаза* намеком на внутренний мир опыта, таящийся под броней; умело построенный "*намеки*" - подмигивания; отсюда в "*Симфонии*" моей названы люди опыта "подмигивающими". Почему "*подмигивания*"? Да потому, что - "символы не говорят: они молча кивают" (Ницше); но "*кивают*" о действительно переживаемом, о творимом, о третьем, о царстве "*символа*". Идеология шлема и бронирования - опять-таки понятна не всем: многие и тут, в опыте, ломаются в будто бы открытую дверь прямого провода, стараясь зигзаг угла треугольника превратить в линию от *первого* (внутреннего) ко *второму* (внешнему); и, так ломаясь, ставят вопросы: "Конец мира или - бесконечность прогресса". На мое "*что есть мир*" и "*что есть конец*", возвращающее к проблеме символизма и к базе критицизма, как бы отвечает мне: "Это - у вас неувязка от трусости высказать исповедание и т.д.". Таков в близком будущем мой разговор с Блоком (в 1903 году, в письмах) и таковы мои отношения с Мережковскими (1902 - 1906 года).

Люди ломались в будто бы открытую дверь, которая была лишь плоскостью зеркала; перспективы будто бы за дверью открытых пространств, - отражения иной сферы, поворот к которой я волил; и моя философия нудилась в вычислении угла поворота; а это вычисление виделось - распылением; но судьба рвущихся слишком поспешно "*связать руки*" и "*отлететь в лазурь*" (стихи Блока к "Аргонавтам") - удар лбом в зеркало; для Блока шишка этого удара - "*Балаганчик*" (с самоосмеянием); для Мережковских - уход в плоскость газетного листа; для Петровского - удар о православие в эпоху 1905 года.

Я знал, что будут *удары* вне усвоения проблемы символизма, мной нудимой; я еще в "*Симфонии*" поставил на очередь удар во фразе-лозунге: "Ждали Утешителя, а надвигался Мститель". "*Мститель*" - разбитие лба о плоскость стены: *символизм минус критицизм*.

И когда впоследствии начался хаос расшибания лбов и ругань по адресу вчера волимого, я тактически отступил по всему фронту символизма: от *теургии, коммуны, эсотерики, опыта* на новые позиции: Канта и символизма как "школы".

И тут - не понимали меня (эпоха 1906 - 1909 годов).

Идеология идеологией, а опыт опытом - вот мое "*мотто*"; критицизм - грань между ними; *опыт* - незакрепим в догму; он выражаем в текучей символизации умело поставленных намеков; идеология - временная гипотеза: надстройка над бытием опыта; а учение о приемах надстраивания и приемах символизировать - критический гнозис символизма как *теории*.

Так намечаются для меня три сферы символизма: сфера Символа, символизма как теории и символизации как приема. Сфера Символа - подоплека самой эсотерики символизма: учения о центре соединения всех соединений; и этот центр для меня Христос; эсотерика символизма в раскрытии по-новому Христа и Софии в человеке (вот о чем мимика моих "*Симфоний*"); сфера теории - сфера конкретного мировоззрения, овладевшего принципом построения смысловых эмблем познания и знаний; сфера символизации - сфера овладения стилями творчеств в искусстве; в подчинении этой сферы символизма и в подчинении символизма самой сфере Символа изживался во мне принцип тройственности, лежащий в основе пути символизма.

Этот ритм тройственности мне слышим в эпоху написания "*Симфоний*" (в 1901 году); но никто не понимает меня - хотя бы в совмещении нот величайшего оптимизма ("*много радостей осталось для людей*") с острой сатиричностью против прямолобого перения в "*мистику*" и в "*секту*". Через год, когда вышла "*Симфония*", даже приемлющие ее художественно не видят меня; Рачинский и Эллис восхищаются "*Симфонией*"; Рачинский - тем, что она якобы говорит "*да*" традиции; Эллис - тем, что "*Симфония*" написана вдребезги разбитой душой; оба не видят проблемы *критицизма*, зигзага и поворотного угла, переносящего "*чаяния*" в иную сферу; я же в предисловии подчеркиваю *три смысла* "*Симфонии*". Идеино-символический ее лозунг: близится "*новое*"; сатирический лозунг: "не лупите к новой культуре по прямому проводу догматов и мистики: расшибете лбы; реалистический лозунг: материал для "*Симфонии*" - имеется; это быт ощущений нового слоя людей; этот быт отрицался; его - не видели; я же имел глаза и зарисовывал факты: повальная мода на религиозно-философские вопросы началась только через 3 - 4 года по написании "*Симфонии*"; я видел эту "моду" уже в 1900 - 1901 годах.

С 1901 года до 1905 года меня озабочивает конкретнейшая проблема: раз факт переключки в опыте символистов установлен, этим установлена возможность укрепления и роста этого опыта в ассоциации, внутренней коммуне, долженствующей вынашивать самый быт жизни, основанный на связи в Символе; многообразие символизаций - так сказать, обстановка быта коммуны символистов; проблема коллективизма из умопостигаемой становится реально осуществимой; она - трудна, нова, но не безнадежна; и Блок - откликается: "*Вместе свяжем руки*". "*Вместе связать*" - связать в Символе: кругом символизаций, опыта, т.е. связаться религиозно.

Об этом я говорю главным образом в символизациях: образами и афоризмами; но афоризмы и образы строятся мною неспроста: они - намеки на сферу Символа, внутренне приоткрытой действительности; этим они отличны от откровенной фантастики символистов-субъективистов (для меня все еще - декадентов) и от догматики схем Мережковского, в котором я вижу борьбу догматизма с символизмом. В "*Симфонии*" я имею замысел: отразить "*нечто*" в искусстве; и задание удалось. Но я волю большего: чтобы "*нечто*" отразилось и в быте жизни; коммуна должна защитить ростки жизни от мороза старой культуры. И тут начинается тема, отчаянная для меня: непонимание меня людьми.

Непонимание, страдание, крах - все это сопровождает меня на пространстве 25 лет.

Того, чего я волил в 1901 - 1904 годах, не понимали: С. М. Соловьев (от перерождения в нем языка символов в схемы догм), Рачинский (от "традиций"), Брюсов (от хаотизма и

логической нечеткости), Эллис (от понимания символизма как параллелизма: теория соответствий), Петровский (от полемически заостренной проблемы церкви и монашества), Блок (от мистицизма и философской неграмотности), Вячеслав Иванов (от синкретизма) и т. д. Более близок в музыкальной интерпретации моей темы Э. К. Метнер в 1902 году (а уже в 1907 году уши его зарастают *"культурой"*, понимаемой ветхо).

В этот период я волю: жить мне с людьми и строить с ними коммуны исканий, лабораторию опытов новой жизни... в Символе, или *"третьем"*, возникающем среди нас как ведущий импульс; тут-то и начинается миф об *"Арго"*, подбирающем аргонавтов к далекому плаванию; в *"Арго"* я мыслил сидящим *"Орфея"* - знак Христа: под маской культуры (для первых христиан - знак *Рыбы*).

И у меня впечатление, что в сезоне 1903 - 1904 годов милые друзья-аргонавты ту *Рыбу*... *"съели"*: так, как я описал в стихотворении лета 1903 года:

Поданный друзьям солнечный шар был... съеден.

Растерзанные, солнечные части

Сосут дрожаще жадными губами...

Подите прочь!.. и т.д.

Летом 1903 года пишу: "Наш Арго... готовясь лететь, золотыми крылами забил". А зимой (1903 - 1904 года) пишу рассказ об аргонавтах, где полет их есть уже полет в пустоту смерти (рассказ - "Иронический"); между летом 1903-го и весной 1904-го - рост долго таимого узнавания, что аргонавтическое *"свяжем руки"* есть лишь - кричанье *"за круглым столом"*, ведущее к безобразию распыления проблем конкретного символизма в его соборной фазе (коммуне) от незнания социального ритма и непонимания моих усилий этот ритм поддержать: моя триада (сферы - Символа - Символизма - Символизации) разорвана: *"треугольник"* распался в дурные бесконечности линий (чувственности - у одних, догматики - у других, пустого синкретизма - у третьих).

Я переживаю: надлом - непомерный, усталость - смертельную; и у меня вырывается вскрик: стихотворение *"Безумец"* (последнее цикла *"Золото в лазури"*).

Неужели меня

Никогда не узнают?

Не меня, личности, Бориса Николаевича, - а моего *"я"*, индивидуального, в его усилиях выявить *"не я, а Христос во мне, в нас"*. Но и это стихотворение понято лишь в линии *"истеризма"* и чудовищно сектантского хлыстовства (я знаю, что некоторые декадентские дамы так именно его поняли!).

Вскоре в Москву приезжает Блок; и я прямо, так сказать, рухнул ему в руки, с моим горем о... непонятости. Следующее *стихотворение, открывающее "Пепел"*, написано вскоре после отъезда Блока; в нем рифмуется: *"камер" и "замер"*; *"я"* в моих усилиях и чаяниях замер среди камер сумасшедшего дома.

Коммуна, волимая с 1901 года, переродилась во мне в сумасшедший дом; я убегаю из Москвы в Нижний Новгород; позднее строчки *"Пепла"* отразили это бегство: *"Я бросил грохочущий город"*; этот город недавно еще виделся городом Солнца: утопией о *коммуне*.

В Нижнем я оправляюсь несколько от ряда ударов, нанесенных моим утопиям о мистерии, многострунности в органически развертываемой новой общественности, к которой должен причалить *"Арго"* символизма.

Возвращаюсь из Нижнего, опустив забрало: лозунг *"теургия"* спрятан в карман; из кармана вынут лозунг: "Кант".

В Москве же явившийся впервые Вячеслав Иванов плавает в стихии кружков, все примиряет, все объясняет в тысячегранном, но пустом приятии своего синкретизма; ему - верят: это вот - символист настоящий; я - устарел, сморщился в переплете из... Канта.

Через два года я написал, вспоминая весну 1904 года: "Многим из нас принадлежит незавидная участь превратить грезы о мистерии в козловак".

Я чуть не сошел с ума от узнавания, что *опыт*, соединивший нас в попытке конкретизировать его, разбит; а меня упрекали в неверности; иные аргонавты хотели

слащаво длить аргонавтизм; его не было для меня в *опытном* узнании, что нет общей опытной базы в Московском коллективе; я имел опыт другого рода: выстраданное знание о том, как перерождается социальный ритм в общественном коллективе, если его преждевременно опустить из духовной сферы в сферу душевности, где он - вихрь хаоса и астральная духота.

5

После разгрома чайный еду в деревню: еще раз перепроверить свои теоретические позиции, а с осени 1904 года поступаю на филологический факультет, имея намерение специализироваться в философии; осенью же работаю над предметами методологии; в университете прилежно изучаю Канта и Рила; и от них рикошетом ударяюсь в Риккерта; сам же пользуюсь указаниями когенианца Б. А. Фохта; выясняется мне необходимость отставать от символизма линию: Шопенгауэр - Вундт; философия культуры на гносеологической базе Фрейбургской школы и коррективы к философии этой - мой новый подход к теории символизма.

Но основная мировоззрительная тенденция - та же: вскрыть полифоничность, многосоставность и найти ритм диалектики течения метода в методе; в контрапункте течений увидеть тему в вариациях; тема без вариаций - абстрактный монизм; вариации без темы, их пересекающей, - параллельные линии методов; в наивной статье о "Научном догматизме" эта тема дана в простом общем виде: *"Выработке порядка соотношений, различно преломляющих грани познания, должен быть посвящен труд философа"*; далее: "Может существовать бесконечное количество мировоззрений" (1904 года); это - девиз лекций Штейнера 1914 года, выдвинутый за десять лет до того, как он был дан в Берлине; в 1909 году *"Эмблематика смысла"* в согласии со всем мной написанным пытается дать схему контрапункта в переложении и сочетании мировоззрений; принцип контрапункта - критицизм, соединенный с гносисом символизма; в опять-таки слабой статье 1904 года *"Критицизм и символизм"* этот лозунг дан *"Критицизм устанавливает перспективу в ступенях сознания"* (1904 года); эти ступени: формализм (от рассудка), метаф. догматизм, критицизм, символизм; в статье того же года *"О границах психологии"* выдвинута проблема дуализма, преодолеваемая в *третье*. Я в одном разрезе плюро-монист, в другом ду-монист, потому что теория символизма есть плюр-дуо-монизм, где сфера плюрализма - сфера научных эмблем и символизаций; сфера дуализма есть сфера самой теории символизма, рассматривающей проблему дуальности познаний и творчеств; сфера же конкретного монизма, переживаемого целостно, - сфера Символа; здесь, в третьей сфере, *"открывается возможность искать эзотерический смысл тех или иных внешне очерченных истин"* (1904 г., "Окно в будущее"); внешне очерченный, но глубокий смысл имеет для меня энергетический принцип; и в статье *"Принцип формы в эстетике"* я даю эстетику в эмблемах энергетизма, а в статье *"Маски"* подставляю под энергетику эмблему Диониса в согласии с основным принципом, мне отчетливым: множественность символизаций; в статье 1903 года, слабо написанной, попытка набросать 7 картин мироощущений, поставленных как смена образов (в статье *"Священные цвета"*), а в статье *"Смысл искусства"* попытка дедуцировать 8 приемов строить символы, могущих лечь в основу разных художественных школ, ибо символизм - не теория школы, а теория переложения и сочетания школ в энного рода символизациях, подчиненных ритму Символа - Логоса.

Всюду - та же тенденция: к раскрытию эмблематизма познания: Гегель, Фихте и Шеллинг, по-моему, *"вместо того, чтобы понять символизм... метафизику... всяческий символизм... выводили из метифизику"* (*"Символизм"*); но ведь то же утверждала неведомая мне тогда методология Штейнера, ставя на вид, что Гегелева метаморфоза идей и Гетева точная фантазия пересекомы в третьем: в имажинации; это третье и было моей сферой символизма.

Двадцатилетием ранее меня писал Штейнер (во втором томе своих комментариев к Гете): "Гете различает три метода... Первый есть метод... эмпиризма... Рационализм образует следующую ступень... Ту и другую считает односторонностью Гете... Оба пути суть для Гете лишь проходные пункты..."

Но этого ж и я волил: гносеологический рационализм Когэна, в который разрешалась проблема Канта, преодолевает эмпирический плюрализм; и здесь, в преодолении догматик плюрализма, *"мы... символисты - считаем себя... законными детьми великого кенигсбергского философа"*, - писал я в 1904 году ("Символизм и критицизм"); но рационализм преодолеваем в высшую ступень, по Штейнеру, и я утверждал - то же преодоление: "Символизм, рожденный критицизмом... становится жизненным методом, одинаково отличаясь и от *догматического эмпиризма, и от отвлеченного критицизма, преодолением того и другого*" (1904 год, "Символизм и критицизм").

Через десять лет, встретясь с методологией Штейнера, я узнал в ней свои юношеские усилия выволочить символизм из критицизма, но и не отдать его эмпиризму, выставив в тыле повернутые на эмпиризм жерла орудий Кантовой критики. Почему же так не внимали мне иные из друзей аргонавтов, ставшие, как и я, антропософами, в моих доантропософских усилиях высказать нечто антропософское? Да потому, что они не понимали меня как... символиста; не понимали же оттого, что не желали понять: вкусовое отвращение к слову *"символ"* сыграло-таки свою роль; у меня же были веские мотивы не заменить *"синтетизм"* символизмом; синтетизм в теоретическом вскрытии есть рационализм; и - только.

А я, как и Штейнер, волил конкретного преодоления всяческого рационализма, но - знал, что преодоление это вне символизма всегда - падение: в ту или иную догматику от эмпиризма.

У меня были веские идеологические причины бороться за слово, столь не нравившееся... друзьям (от религии или только *"эстетики"*).

Куда только меня не тащили от слова-лозунга: тащили в религию, в мистику, в снобизм, в когенианство; а я - отбивался; декадентам (эстетам-эмпирикам) я казался рационалистом в своем символизме; философы именно за стадию рационализма и предлагали местечко в неокантианском "бюро", но - с непременным условием: отказаться от символизма; религиозники от *"традиции"* соглашались безоговорочно окропить приходской водицею сферу Символа, ценой отказа от Канта и от науки.

Так сферы триады моей беспросветно растаскивались по лагерям, бравшим меня всегда в одной трети: то - только в символизации, то - в религии, то - только в философии; диалектика соотношения, пересечения и течения сфер была всем чужда; плюро-дуо-монизм отрицали: монисты, дуалисты и плюраллисты.

Оттого-то никто не увидел подлинного символизма в *"символисте"*: в Андрее Белом.

Таково было мое самочувствие в Москве: в эпоху 1904 года, когда я ради повинности появлялся в Астровском кружке преть в аргонавтическом разглагольствовании; и оттуда шел выть по-волчьи с волками по службе: со *"скорпионами"* или *"грифами"*.

Эсотерика, интимное, чаяния, мечты о коммуне - их перенес я: их искал осуществить с другими людьми.

В этот период независимо от личных разочарований я погружен в раздумья о том, что есть коллектив в обществе и в общине; я много читаю по социологии (Каутский, Маркс, Меринг, Зомбарт, Штаммлер, Кропоткин, Эльцбахер и ряд других книг); к 1905 году мне уже отчетливо ясно, что "общество" - понятие двусмысленное, что его судьба между все расплющивающей государственностью и между невскрытым конкретно никак ритмом коммуны (общины); возвращения к первобытной коммуне не может иметь места, а принцип коммуны грядущей, в которую мы упираемся, если волим соборности, - не вскрыт никак; всякое общество без развития в нем коммунальной жизни перерождается в государство, не тем только, что оно берется на учет и под контроль, а тем, что оно, всасывая в себя начала государственности, развивает внутри себя 1) аритмию

противоречивых стремлений, 2) гнуснейшие формы насилий под флагом руководства одним или немногими, превращающими общественный ритм в плетку; тирания и хаос, механизмуемый уставом, всегда давящим индивидуальность членов, - две формы дегенерации общества; общественный коллективизм под давлением извне (городовым) и внутри тираном и уставом для меня - фикция, преодолеваемая лишь свержением всех форм власти (догмата ли, тактики ли, устава ли); преодоление власти ритмом развития делает меня анархистом как индивидуалиста; но, будучи символистом, я самую индивидуальность рассматриваю как лишь соединение многих обликов личности; мой индивидуум - коллектив; и коллектив всякой коммуны, органически сплетенный из членов и тканей, есть индивидуум. Социальность в смысле индивидуалистического коммунизма есть нераскрытое понятие целого; я ее называл *"спящей красавицей"*, которую сознание творческих индивидуумов должно пробудить от сна; во сне она зачарована, как примитивная коммуна, как традиционная церковная община, как групповая душа (коллектива, человечества, мира); пробужденная от сна, она - *"София"*, как культура коллектива; разумеется, под *"Софией"* я разумею не традиционно-гностическое представление, а символический знак культуры быта новой жизни, ритмизируемой Символом, или Логосом; эта проблема коммуны фигурирует в плохой статье 2-го сборника *"Соборная совесть"* (забыл заглавие) и в статье *"Луг зеленый"*, дающей в образах и афоризмах намеков на сложнейшие думы, на чтение социологической литературы и разговоры с Эллисом, бывшим экономистом и марксистом: *"Или общество - машина, поедающая человечество... или общество - живое, цельное, нераскрытое... существо"* ("Луг зеленый"); эмблематизация существа многообразна: ассоциация, организм, церковь, община, София, проснувшаяся красавица, муза жизни, Персефона, Эвридика и т. д. В грезах о коммуне, поскольку ее жизнь не вскрыта, я сознательно допускаю мифологический жаргон, источник скорого чудовищного непонимания меня со стороны, например, Блоков, приписавших в силу интеллектуальной неотчетливости и им присущей "мистики" хлыстовский, сектантский, мистический смысл моим эмблемам.

Разумею же я вот что: ритм сложения индивидуальностей в индивидуум коммуны взывает к равноправному свободному раскрытию всех свойств каждой из индивидуальностей в переложении и сочетании всех видов развиваемых связей от каждого к каждому; коммуна-триада из *a*, *b*, *c* личностей, чтобы личности эти в коммуне раскрыли себя индивидуумами, взывает, чтобы *"a"*, оставаясь *"a"*, развило бы себя еще и как *"ab"* в отношении с *"b"*, как *"ac"*, как *"abc"*, как *"acb"*; только тогда *"a"* выпрямится в индивидуальной свободе творчества социальных отношений, то же о *"b"* и о *"c"*.

Если бы представил себе насыщение социальных связей триады (от каждого к каждому), то фигура треугольника явилась бы эмблемой индивидуума коммуны; в тетраде (четырёхчленной коммуне) фигура развития связей от каждого к каждому выявила бы иную фигуру: квадрата, пересеченного крестом, где четыре личности являлись бы углами квадрата, а пятая точка (пересечения) выявила бы единство коммуны как целого; в пятичленной коммуне ее фигура рисовала бы уже не пять, а десять точек, где пять угловых точек рисовали бы сложенную в фигуру сумму социально проявляющих себя личностей; а пять точек пересечения внутри пятиугольника, образующих внутреннюю пентаграмму, рисовали бы культуру целого или индивидуального быта, не содержащегося ни в отдельных членах, ни в сумме их; эти внутренние фигуры в коммунах с большим количеством членов, свободно развивающих пленум своей социально-индивидуальной жизни, становятся все сложнее и изысканней; эта новая, в сумме неданная постройка внутрикоммунальной жизни и есть следствие действительной, а не механической социализации отношений - в ритме, а не в правиле, законе, насилии одним или немногими других.

Общество - гетерогенно; оно всегда - сырой материал для разложения его механикой государственности или выявления в нем печати Логоса, ритма, внутренней жизни, рост которой символизируем словами: "Где двое или трое во имя Мое, там Я посреди них".

Мой лозунг недавней теургии ("*Се творю все новое*") искал выражения в 1904 - 1905 годах в построении коммуны символистов-социалистов, но не социалистов-государственников; социализация внутренне творимых ценностей - из свободы и из сознания, что *третье*, превышающее двух, четвертое - трех (шестое, седьмое, восьмое, девятое и десятое, сложенные в пентаграмму и превышающие пять членов) и есть новая творимая действительность; преобразование общества - в создании ячеек-коммун, объединенных культурой внутренней жизни; такую коммуны я волил из аргонавтов; но эта коммуна оказалась, с одной стороны, хаосом, с другой - разными общественными, и только общественными кружками Москвы; на них я поставил крест.

Мои надежды на новую коммунальную жизнь - в искании отбора отношений интимных и эсotericных; такой отбор происходил с 1903 года между Блоками, С. М. Соловьевым и мной - в одном направлении; между мной и Мережковскими - в другом (свидания и жаркая переписка с Гиппиус с 1901 года).

Здесь подчеркиваю, что моими теоретическими оформлениями таких коммун-индивидуумов (или "монад" высшего порядка) являлись тезисы отцовской статьи "*Основы эволюционной монадологии*", в которой жизнь мира рассмотрена как социальное сложение монад в градации неразложимых комплексов все большей сложности; и таким оформлением с 1904 года стал тезис Риккерта о том, что сам индивидуум есть неразложимый комплекс или общество единиц (социальный базис индивидуального).

Религиозная символика этой традицией не понятой социальности было учение Апостола Павла о церкви как индивидуально-социальной коммуне; итак - для своего соборного символизма я имел: гносеологическую эмблематику (Риккерт), социальную эмблематику (анархический коммунизм, еще не раскрытый в конкрете коммунальной жизни), аритмологическую эмблематику (учение отца, пифагорейство) и монадологическую (Лейбниц).

Я не был настолько "*идиот*", каким изображен я в биографии тетушки Блока в подходе к Блокам как кандидатам для некоей новой коммуны, - я был слишком критичен; но мое вечное несчастье: наталкиваясь на полную недисциплинированность ума и мистику, я излагал свою сложную концепцию с "*так сказать*"; в результате - грубое возложение дружеских сапогов на плечо моей вполне непонятной идеи об опыте развития *социального ритма* в кругу трех-четырёх-пяти членов.

Не описываю всего "*Балаганчика*" в эпизоде с Блоками и С. М. Соловьевым; разгром моих мифологем - полный; Блок, далекий от социологии, гносеологии и моих идей о критическом символизме, увидел "*мистику*" там, где ее не было; и "*мистикой*" отрицания на воображаемую "*мистику*" налетел лбом на свои собственные темы стихов, которые и осмел в "*Нечаянной радости*". Л. Д. Блок ничего не поняла, кроме импровизации и авантюры; С. М. Соловьев явился в коммуны с церковными догматами, наспех перекованными на особый лад, придававший идее коммуны вид секты.

В итоге - трагический крах отношений с Блоками, над которым я опустил завесу молчания в воспоминаниях о Блоке ("*de mortuis aut bene, aut nihil*"); скажу лишь: я в этих воспоминаниях себя слишком преумалил "*для ради*" надгробного слова над свежей могилой. Теперь - сожалею, ибо усматриваю спекуляцию на моей скромности.

Утопия с одной из попыток стать на почву новой соборности есть история подмены тонкого и нежного ритма чудовищными искажениями отношений, в итоге которых - удар; утопия попытки зажить в идейно-религиозной коммуне Мережковских - история другого краха.

Оба подготовлялись с 1905 года, развивались в 1906 году и осознались в 1907-м.

С Мережковскими я сближаюсь через переписку на тему о том, что есть религиозная община в новом сознании; моя религиозность не приемлет догмата, но - символ Христа в лике и импульсе; Мережковский меня преимущественно волнует в 1901 и 1902 годах, в период максимального подъема дерзания, которое для меня - минимально; оно - пункт отчаливания от старых берегов религиозной жизни; в 1905 году я принят в религиозную

общину, которая в представлениях Мережковских четко оформлена; оформлена и в открытой своей обрядовой возможности; войдя в эту общину, я вижу, что в ней жива лишь *триада* (Мережковский, Гиппиус, Философов); я же по счету принятия седьмой член (Карташев, две сестры Гиппиус суть четвертый, пятый и шестой члены); нам в триаде нет места: *триада* доминирует над телом общины; и оттого-то наше творчество внутри ее связано. Вот мои ощущения 1905 года; к ним присоединяется ощущение, что самое поле деятельности общины все более и более - общественность, выражающаяся в фельетонизме; и - только; в конце 1905 года в статье "*Отцы и дети русского символизма*" я говорю этой деятельности "*нет*", выдвигая между собой и Мережковскими проблему "*отцы и дети*"; в начале 1906 года - моя последняя попытка живо себя ощутить в общине Мережковских; с 1906 до 1908 года я идеологически на всех порах ухожу от фельетонной общинности; Мережковские не понимают причин моей сдержанности, хотя и я выдвигаю мотивы своей критики: отсутствие критицизма, многострунности, нечеткость в социологической проблеме, стабилизации "нового" сознания в догматизм секты; словом, - отсутствие символизма. Мне не внимают.

В 1908 году в письме к Мережковскому отмежевываюсь от него.

Но уже в принципе с 1906 года с утопией о соборном индивидуализме покончено.

6

Удар на почве разрыва моего с Блоками выкидывает меня из России в 1906 году; когда я в 1907 году вернулся в Россию, я застал в Петербурге безобразную пародию на мои утопии о соборности эпохи 1901 - 1905 годов под флагом мистического анархизма; этот мистический анархизм генетически возник из моих же усилий разъяснить Блокам и В. Иванову, что есть социальный ритм; в конце 1905 - в начале 1906 года я много говорил с Вячеславом Ивановым на тему об интимной коммуне, указывая на Блока; В. Иванов переводил мои слова на язык своего синкретизма; я свез Иванова к Блокам для разговора на эти интимные темы; позднее я разорвал с Блоками; Иванов же нашел с Блоком общий язык или, вернее, заставил Блока принять сильную дозу своих нечетких идей; он же подставил Блокам фельетонно настроенного Чулкова, оба они наскоро испекли совершенно непонятную платформу соборного индивидуализма, назвав его мистическим анархизмом и притянув за уши к нему Городецкого и Мейерхольда; "*мистический анархизм*" стал модой петербургских салонов в 1907 году; появились при нем и Модест Гофман, и А. А. Мейер.

Я считаю моду на эти идеи ужасной профанацией того интимного опыта символистов, который опирался на подлинно узнанное в 1901 году; декаданс этого опыта в мистику и "*блуд*", вносимый развратно-упадочным обществом в тему общины и мистерии и в синкретическую схоластику, якобы дающей идеологию атмосфере "*блуда*", заставляет меня подумать о максимальных средствах борьбы с направлением, разрешающим проблему мистерии в идеологическую мистификацию на плацдарме театра, а проблему общины в "*общность*" жен.

Я бронирую свои недавние лозунги символизма в полемику и в вопрос о школе; символизм как школа, мое "*осади назад*": для переорганизации всего фронта.

Интимное символизма утрачено; оно стало соблазнительною подманкою для дам и юношей, читающих "Крылья" Кузьмина и лесбианские двусмысленности "*Тридцати трех уродов*" Зиновьевой-Аннибал (жены В. Иванова); а идейный фронт вынесен во все газеты и журналы; я, никогда не думавший стать газетчиком и более всего мечтающий написать философский трактат о символизме, видя в доме символизма пожар, - лечу на пожар с пожарной кишкою: окачивать мистико-анархический пыл струею холодной воды; так я вытянут в газету; все статьи мои того времени в "*Весах*" носят газетный характер.

В мистическом анархизме я вижу кражу интимных лозунгов: соборности, сверх-индивидуализма, реальной символики, революционной коммуны, многогранности,

мистерии. Я вижу свои лозунги вывернутыми наизнанку: вместо соборности - газетный базар и расчет на рекламу; вместо сверх-индивидуализма - задний ход на общность; вместо реальной символики - чувственное оплотнение символов, где знак "фаллуса" фигурирует рядом со знаком Христа; вместо революционной коммуны - запах публичного дома, сверху раздушенный духами утонченных слов; вместо многогранности - пустую синкретическую всегранность и вместо мистерии - опыты стилизации в театре Мейерхольда.

Всему этому я говорю свое негодующее *"нет"*: "Это - не символизм, а фальсификация".

Что путаники вроде тогдашнего Чулкова и Городецкого понесли в теорию мистического анархизма свои наивно-догматические представления былого и жалкий винегрет слов, нахваченных у всех мировых умов без разбора, еще не так оскорбительно для меня; что чувственные дамы и развратные юноши бросились на мистико-анархическую коммуну, приманенные накрашенным Кузьминым, бродящим как свой человек среди *"коммунаров"*, - не это переполняло чашу терпения; что где-то кого-то кололи булавкой и пили его кровь, выжатую в вино, под флагом той же мистерии - это только смешило; серьезнее было то, что многие, попадая в эту блудливую атмосферу, жизненно разлагались; но всего обиднее то, что два настоящих символиста, Иванов и Блок, не только не вернули своего билета на мистический анархизм, как я, но - наоборот: покрывали молчаливым согласием эту неразбериху; и в своих художественных образах явно смеялись над всем тем, что вчера воспевали; так Блок высмеял в *"Балаганчике"* то, в чем вчера чудовищно запутался; но высмеивал он не свою путаницу, а путаницу своих *"вчерашних друзей"*, изображенных идиотическими мистиками; этим мистиком являлся для меня он в эпоху нашей с ним переписки; и эта мистика была мною осмеяна в образах *"Симфонии"* еще в 1901 году. Выходило же для всех, не посвященных в подоплеку наших отношений, что какие-то идиоты-мистики затащили мудрого Блока в невообразимую чепуху, отчего им досталось от мудрого Блока; нечего повторять, что одним из *"мистиков"* был я.

В ответ на такое потрепательство каблуком по плечу я еще в 1906 году ответил рецензией на бред *"Нечаянной радости"*; смысл рецензии: Блок, подменив святыню муз кощунством, кончился как символист-эсотерик; это было актом сброса каблука Блока с моего плеча; рецензия вызвала негодование на меня; а через четыре года Блок сам признался, что он, подменив святыню муз балаганом, обманул глупцов.

Моя яркая полемика против Иванова, Блока, Чулкова, Городецкого и других *"анархистов"* - борьба с *"обманом"*; моя правда в том, что я первый назвал своими именами то, что, происходило с символизмом; моя ошибка в том, что перенося центр в нападение, я не имел времени достаточно разглядеть тылы своих позиций, которые - должны были бы быть твердынями; а уж какие твердыни, коли в тылу моем воткнутом знаменем символической школы оказался... Брюсов.

В ответ на *соборность*, вынесенную в газету, я провозгласил свое отходное: "Назад в индивидуализм"; *"мистическому"*, да и всякому анархизму противопоставил социализм: лучше социалистическая государственность переходного времени, чем торричеллиева пустота того *"коммунизма"*, в который проваливается паяц блоковского *"Балаганчика"*, ибо небеса этого коммунизма - папиросная бумага, натянутая на цирковом обруче, в который прыгает Чулков (лучше временный городской, чем угашение сознания у дам и мальчиков для... *"странных дел"* мастерства над ними, программа которых - стихотворение Вячеслава Иванова о возможности 333-х объятий; тут ведь 1/2 числа звериного "666"*) вместо объятийной безгранности я провозгласил резко очерченную гранность методологического многогранника, взывающего к критической философии: для протрясения мозгов, не умеющих разобраться в разнице меж причастием и половым соитием; вместо *"реальной"* символики оцупей телесных форм, эмблем фаллуса и двойного топора доисторических каннибалов, столь любезных Вячеславу Иванову (см. его *"Религия страдающего бога"*), я провозгласил: рано преодолевать критический рационализм, если преодоление - впадение в такую эмпирику; в ней ведь - сфера

символизма отрезана от эмпирики; итак, будем преодолевать ее критическим идеализмом Канта (и тут я верен позиции и 1901 года, и 1904 года); мое "*назад к идеализму*" ведь означало: вперед от "*чувственности*". Вместо "*теургического*" искусства любить дам и мальчиков, я провозгласил: рано при таком понимании соборного искусства вылезать из "*только искусства*"; я провозглашаю: школу, учебу, ремесло, прием, стиль; впоследствии пассажиры с Гумилевым на этой тактической ревизии строят свою школу (через 3 года); вместо революционного максимализма, в эпоху реакции перерождающегося в психологию огарочников, я платформирую: сохранение хоть той партийной левости, в которой застала реакция нас; называть "*огарничество*" преодолением партийной платформы - жалкий обман. И вместо "*мистерии*", подмененной Ивановым реставрацией оркестры, а театром Комиссаржевской подмененной технической стилизацией, я рекомендую критически разобрать театр в проблеме синтеза искусств: я указываю на 1) невозможность символической драмы в понимании мистических анархистов, 2) на невозможность "*мистерии*" в пределах сценических подмостков (она для меня возможна в центре "*общины*", но моя "*община*" - сфальсифицирована в "*лужок игр*"), 3) я указываю на антиномию путей театра (либо - к Шекспиру, либо - к марионеткам); и ставлю вопрос: чего хотят Мейерхольд, Блок и Комиссаржевская? Последняя внимает моим статьям; Блок - тоже. В этом последнем вопросе я раскалываю единство мистических анархистов; Блок под моим давлением публично отрекается от него; Комиссаржевская начинает эволюционировать в сторону от современного театра; эта эволюция приводит ее к уходу со сцены.

Этими темами полна моя публицистика в эпоху 1907 - 1908 - 1909 годов; на газетное искажение задач символизма я отвечаю газетным наскоком; с 1907 года я появляюсь в газетах и из газет открываю пулеметный огонь; нет времени думать об углублении идеологии символизма; и нет времени художественно работать; скажу лишь, что за три года при самом беглом перечислении статей и статей (многих не помню) я насчитываю их в количестве 65; собранные в 1909 году, они составляют 3/4 моих книг "*Символизм*", "*Арабески*" и "*Луг зеленый*"; лихорадочная, спешная газетная деятельность - тушение пожара, охватившего символизм, которого кризис - не эпоха 1912 - 1914 годов, а 1907 - 1908-ые; "*символизм*", как глубокое, критическое и интимное течение, рушился для меня в "*символистах*"; "*символисты*" проваливали символизм.

Таков был мой взгляд.

*Или "пол" звериного числа в смысле "половой проблемы".

И я, видя крах символистов, спешил заранее унести во временную цитадель то, что еще не растлено; цитадель, или полемическая бронировка *интимных глубин* символизма, - сужение его в литературную школу; лозунги "*школы*", выдвинутые московской группой "*весовцев*" с маркой Брюсова, как поднятого на щит вождя, главным образом принадлежат мне.

Вот ракурс этих лозунгов:

1) Символизм базирован всей историей критицизма; он - прорыв самого критицизма в свое лучшее будущее.

2) Он - строящее мирозерцание новой культуры.

3) Теперешние попытки четко зарисовать контуры этой культуры - временные, рабочие гипотезы.

4) Не будучи "*школой искусства*", но тенденцией культуры, символизм в настоящую эпоху, поскольку он черпает содержание у этой культуры, более всего конкретизируется в искусстве; но там он "*школа*".

5) "*Школа*" - условна: пролетариат и класс, зерно надклассовой будущей жизни; он двуедин; то же двуединство - "*символическая школа*"; она "*школа*" в борьбе с догматами школ; и не "*школа*", поскольку любому догмату она противопоставляет весь пленум условно допустимых школьных приемов; и романтизм, и реализм, и натурализм, и классицизм

суть вариации темы символизма, т. е. даны в символизме; и вне символизма они - догматические стабилизации.

6) Всякое искусство символично в вершинном и глубинном осознании художниками своего творчества; символическая школа социализирует эти индивидуальные лозунги, затерянные в эпохах и школах, и конденсирует в платформу; в символизме вскрывается самосознание творчества; в до-символизме оно - слепо; в символизме оно - осознано.

7) В популяризации и осознании символического нерва искусства - задание школьных теоретиков "*партии*" символистов; в нем - раскрытие новых творческих горизонтов.

8) В росте этих горизонтов - гарантия роста новых форм словесной изобразительности (произведений символистов, могущих принадлежать к энному роду "*школ*")

9) Символизм не противопоставляет себя *истинному*, связанному в других школах, ибо он - "*так сказать, школа*"; но он же противопоставляет себя как "*школа*" там, где другие школы нарушают основной "*школьный лозунг*" символизма; *единства формы и содержания*.

10) Это "*единство*" не должно быть взято как а) зависимость формы от содержания (романтизм), б) зависимость содержания от формы (формализм, или реставрационный классицизм); единство есть *целое*; *целое* - Символ-триада.

11) Смысл символизма в раскрытии целого как индивидуума и как комплекса (социальная база); индивидуум - коллектив; коллектив - индивидуум; индивидуальная жизнь целого есть содержание форм коллективистической жизни; коллективная жизнь индивидуальностей коллектива есть содержание раскрывающих индивидуальностей; такова трансплантация школьного лозунга в проекцию новой философии культуры; и здесь связь "*школы*" с философией символизма.

12) Наоборот, сужение школьных заданий в проблему слова - в лозунге: языковой символ - метафора (этот лозунг я заимствую из завлечений Вячеслава Иванова и приобщаю к своей программе).

13) Исследования лингвистов, поскольку они вскрывают языковую метафору, есть лингвистическая база символической школы.

14) Символическая школа видит языковой свой генезис в учениях Вильгельма фон-Гумбольдта и Потебни (здесь обобществлен взгляд Брюсова на Потебню).

15) Но символическая школа не останавливается на работах Потебни, ища углубления их.

16) Одно из таких углублений вскрывает нам единство восстания языковой метафоры и мифа, где миф есть религиозное содержание языковой формы, а эта последняя есть реализация мифа в языке (спайка с Вячеславом Ивановым).

17) Всестороннее раскрытие лозунга символической школы о форме и содержании дает новые критерии в анализе лингвистических форм, теории слова, теории стилей, теории мифа, психологии, критике и т. д.

18) Здесь символическая школа ставит себя под знак теории символизма как обоснования нового культурного творчества, которого источник - новый человек в нас.

19) От исхода борьбы вырождения с возрождением в нас, в нашей общественности, в классовой борьбе, наконец, зависят пути новой культуры.

20) Конкретизация символизма - творчество самой новой жизни.

21) Разрез ее в сфере искусства и рисует на нем новый знак: символизм, который вскрываем, как искомая теория творчества.

Таков случайный ракурс моей школьной программы, многообразно рассыпанный в 65 статьях, в нескольких десятках рефератов, лекций и заявлений в этом периоде.

Я - появляюсь всюду: воплю, платформирую, нападаю и защищаюсь; тушу пожар, охватывающий здание возводимого символизма.

Меня - не понимают и тут: ни вчерашние друзья (сегодняшние враги), ни вчерашние враги (сегодняшние друзья), ни исконно близкие друзья, не видящие, что мое тушение пожара - необходимо, ибо через 10-15 лет символизм отпечатлется в десятках

профессорских трудов под формой единственно воспринятого символизма - символизма-пародии со всеми его "мистиками" и "трансцендентностями"; т.е. усвоится не символизм, а *мистический анархизм*; мистические анархисты, испакостив символизм, разбегутся, и в эпоху 1921 - 1928 годов в "СССР" будут публично осмеиваться "мифы" о символизме, а истинные символисты будут молчать и вынужденно хлопать глазами.

Нет, - друзья не понимали меня; и на их: *"Охота тебе, Боря, так волноваться пустяками"*, - оставалось лишь горько отмахиваться, спеша на... очередной "скандал".

В этой фазе меня понимали только Эллис и С. М. Соловьев: они видели, что плевела, посеянные в символизм, разрастутся в десятилетиях, потому что вовремя не были подхвачены лозунги символической школы теми, кто бы их мог подхватить; осознание горечи и одиночества и невыносимо трудной роли очистителя авгиевых конюшен вызывали горькие стихотворения *"Пепла"*, вроде:

Все говорят, что я умру,
Что худ я и смертельно болен,
Но я внимаю серебру
Заклокотавших колоколен.

"Колокольни" - зов: уйти от шумих, грязи и бесцельного служения другим, даже не понимающим моего альтруизма: но я не уходил, борясь за лучшую память о символизме и символистах, чем та, которая осталась в истории новейшей литературы.

Поэтому я был бесконечно утешен теплым и дружеским подбодром неожиданно ко мне подошедшего М. О. Гершензона, вовремя сказавшего: "Вы правы в вашем негодовании; действуйте и впредь - так же; лучше грубыми ударами напасть на совершающееся зло, чем стыдливо умыть руки".

И несмотря на то что я получил лишь заушения за свою роль полемиста, я в 1928 году, через более чем 20-летие, утверждаю в основном пафос своего налета на *"соборный индивидуализм"*.

Если бы в *"Арабесках"* и *"Символизме"* не осталось следов моего "нет" всяким "мистикам", то десятки транскрипций символизма в бездарных и тупых книгах о нем всевозможных Шуваловых не имели бы фактических опровержений в виде подлинного текста статей, написанных в 1906 - 1908 годах; их не закроешь никакими фальшивками; кто-нибудь явится и скажет современным истолкователям: *"Что вы врете? Ведь вот что писали символисты"*.

7

Иногда я горько грустил; все устремление мое написать *"Теорию символизма"* в серьезном, гносеологическом стиле разбивалось о полемику, очередные "при" и журнальные темы дня; я все более и более сознавал свое теоретическое одиночество даже среди символистов. Три года упорной журналистики вдребезги разбили выношенную в сознании систему символизма; и "65" статей - дребезги этой недонесенной до записи передо мной стоящей системы. Как ни старался я использовать заказы минуты, просовывая в них контрабандой кусочки теоретических мыслей, обрывки платформ *"школы"*, - цельной картины моих мыслей и не могло получиться; она всегда разбивалась здесь о задачу дня (концерт *"Дома Песни"*), там об очередной юбилей или смерть; ну что скажешь о культуре в статье *"Песнь жизни"*, когда она приурочивалась к произнесению в день открытия *"Дома Песни"*; на теорию символизма морщился д'Альгейм за то, что символизм оттеснял его *"Дом"*, а за теоретические рассуждения, втиснутые в очередную тему *"Пшибышевский"*, могла обидеться Комиссаржевская, пригласившая меня в свой театр выступить со словом о Пшибышевском.

Мои 65 статей напоминают мне тугие колбасы, набитые двумя начинками: начинкою *"темы дня"* с подложенными в тему кусочками мыслей о символизме; эти последние всегда - *"контрабанда"*; а между тем из сложения контрабандных кусочков и выявилось

кое-что из ненаписанной мной системы. Перечитывая теперь грустное сырье "Символизма", "Арабесок" и "Луга зеленого", я вздыхаю: все дельное там - контрабанда; а все устаревшее - тогдашняя тема дня. С все большей грустью я продолжал калечить ненаписанный остов системы, с все большей неохотой возвращаясь к полемике, тактике, ибо мне открылась подлинная картина московского "тыла" в борьбе символистов; в "тылу", в "штабе", где заседал Брюсов, нами провозглашенный вождь, с удовольствием относились к обкладыванию петербуржцев и с сонным зевком к заданиям и теориям "символической школы": Брюсов, Ликиардопуло, Борис Садовской; и еще - сколько. Выяснилась и мелочность Брюсова, более всего занятого карьерой в "кружке" и среди миллионерш; я стал упираться, когда меня запрягали в работу; но меня подтаскивали к ней уже мои личные друзья (С. М. Соловьев и Эллис), в то время гипертрофировавшие роль Брюсова как "лидера".

Открывался и "Дон-Кихотизм" с утопией "школы"; было ясно, что кризис символизма - произошел; символисты символизм прозевали.

Меня утешает, что ради утопически воображенной фаланги бойцов, разрывая в себе идеолога, я действовал во имя моральной идеи: служения делу - пусть с мечом в руке, а не с "оливой мира"; да, сердечность под формою гнева есть оправдание растоптанию книги и горьким словам, не всегда справедливым; не забудьте, что суетливые жесты статей суть жесты тушения пожара; этим тушением я был во второй половине 1909 года настолько измучен, что даже отказался от "Мусагета", как дела интимной группы друзей; если бы не настойчивость А. С. Петровского в те минуты, я ответил бы на предложение Метнера об издательстве телеграммой отказа; вмешательство А. С. в мою протрацию с его решительным "Мусагету быть" определило судьбу ближайших лет.

Метнер предлагает спешным порядком печатать мои статьи; и я, с ужасом видя, что это "осколки" разбитого здания, воздвигнутого в сознании, вдогонку уже набираемому "Символизму" пишу в 10 дней свою "Эмблематику смысла", долженствующую хоть собрать кое-что из идеологических лозунгов в связном виде; "Эмблематика" - черновик предисловия к будущей системе, в котором ответственные места испорчены невнятицей только спешного изложения, а не невнятицей мысли; будь хоть неделя в запасе, эта невнятица была бы элиминирована; и точно так же вдогонку пишу "Магию слов", "Лирику как эксперимент", "Опыт описания ямба", "Морфологию ямба" и "Не пой, красавица"; в этих сырых статьях влит кое-как тщательно подобранный за четыре года материал для изучения ямба: задание этих статей в "Символизме" - конкретно выявить лозунг "школы" (единство формы и содержания со стороны формы); единство формы и содержания, рассмотренное со стороны содержания, - материал статей "Луга зеленого" и "Арабесок". Одновременно в два месяца я пишу 200-страничный комментарий к "Символизму"; вписывая в него эмбрионы ряда статей, которые мне хотелось бы видеть в разработанном виде; например: в голове пронеслась большая статья, анализирующая Кантово учение о схематизме понятий в прочтении этого учения теорией символизма; и отсюда мерещился разгляд всей Кантовой аналитики "Критики чистого разума" в новом свете; но вместо статей - две странички петиции в "Символизме". Странно сказать: "Символизм" построен не планом автора, а 1) заказами минут, 2) бешеным темпом набора, зависящим не от меня, а от администраторов "Мусагета".

И оттого-то этот пухлый, безалаберный до ужаса том столь же написан типографией, как и мною.

Если же принять во внимание, что в это же время я дописываю (к сроку же) "Серебряный голубь", то удельный вес работ этого времени по всей справедливости должен бы определяться не под углом зрения их выношенности, а под углом зрения спорта: скачек с препятствиями. Во всех этих неурядицах с текстом меня утешало одно: возможность спокойно заработать над "Теорией Символизма" в будущем.

Линия моего поведения в начале 1910 года четка: московской "школы" - нет (действительность это мне показала); но и петербургской "школы" тоже нет: мистический

анархизм, испортив несколько важных страниц истории русского символизма для будущего историка, исчез тоже (в этой порче для будущего, вероятно, и была его миссия).

Стало быть: фактических групп - нет; но есть *"символизм"*; меня интересует 1) его гносеология, 2) его культура; Э. К. Метнер - попутчик в символизме; но он - трубадур от культуры Гете, Канта, Бетховена; Эллис с его латинизацией символизма мне чужд; я стою на позиции *"русского"* символизма, имеющего более широкие задания связаться с народной культурой без утраты западного критицизма; остальные мусagetцы символизму гетерогенны, а в тройке (я - Метнер - Эллис) я с Метнером против Эллиса и отчасти Петровского и Н. П. Киселева определенно стою за связь с международным философским журналом *"Логос"* в лице его представителей (Степуна, Яковенки, Гессена); издаваемый *"Логос"* - правое ответвление *"Мусагета"*, наглядно изображающее мой лозунг 1904 года: *символизм плюс критицизм*; левое ответвление, соответствующее моей сфере Символа, куда я переношу искание *опыта, эсотики и братства*, - *"Орфей"*; так, сферы Символа, символизма, символизации представлены сферами *Орфей - Логос - Мусагет* под общим куполом *"Издательство Мусагет"*.

Но тут-то и нарушается гармония в понимании соотношения сфер между мной и Метнером; я вместе с Петровским, Сизовым и Киселевым понимаю идею триады, как три концентрических круга по старому лозунгу, ставящему сферу *"символа"* в центр; и этот центр мне - *"Орфей"*; *"Мусагет"*, собственно, как сфера культуры символизаций, определяется *"Орфеем"*, а *"Логос"*, или критическая бронировка, оказывается периферией. Метнер, воля *"Мусагет"* центральным и видя мой переход к *"Орфею"*, усиливающий *"орфейцев"*, сперва тактически, потом полемически и, наконец, идеологически педалирует на *"Логос"*, в свою очередь сильно укрепленный целой группой русских философов с их дядькою, профессором Б. А. Кистяковским; в *"Орфее"* неожиданно появляется Вячеслав Иванов; Метнер, фактически, - с *"Логосом"*. И мусagetский центр, спайка, опустошен; в нем оказывается как-то забытый Эллис, по особым причинам не могущий сойтись и с орфейками и не принятый философами *"Логоса"*. Тогда он, увлеченный своими внутренними исканиями, собственно вне *"Мусагета"* организует с художником Крахтом кружок *"Новый Мусагет"*, *"Мусагет"* в момент рождения оказывается уже *"старым"*; и, главное, пустым и в центре его имеет место: самопроизвольное разрастание цилиндра Кожебаткина (ставшего секретарем *"Мусагета"* и одновременно заходившего в цилиндре).

Знак *"Орфея"* мне важен; измученный фельетонною жизнью трех предшествующих лет, вынеся сферу *"символизма"* из утопий о группе и из пустого помещения редакции в свой кабинет (мечта о написании философского тома), я вместо *"Мусагета"* непроизвольно ставлю знак: *"культура"*. И всецело отдаюсь своим интимнейшим переживаниям, чтению эсотерической литературы, мечтам об *"ордене"*, встречаю с Минцловой, приходящей к нам со словами о братстве Розы и Креста и с обещанием быть посредницей между тесным кружком друзей и *"учителями"*. По-новому поднимаются во мне думы всей жизни: о коммуне, о братском опыте; ведь эти же переживания, но в иной тональности в 1901 году мне открыли годы зари; заря потухла в нас от неимения руководства на путях духовного знания; ведь еще в 1904 году я писал: *"Искусство перестает удовлетворять... ищешь нового руководителя"* (*"Маски"*). Весь крах с попытками обобщить опыт - от неимения духовного руководства; вспоминается крах с *"Арго"*, крах с астровским кружком, крах с попытками приблизиться к теософам, крах с Блоками, крах с Мережковскими; недалёковидность в ориентации на Брюсова и, наконец, новая мусagetская неувязка с ненахождением равновесия между *"Логосом"*, *"Мусагетом"*, *"Орфеем"*; я вижу, что мы разбросались вширь преждевременно; и, разбросавшись, разорвались в центре, где оказалась дыра (из нее же рос Кожебаткин, являя собой фокус-покус: *"фараонову змею"*).

Все эти невеселые мысли о нашей внешней культуре решительно концентрируют меня в сердце *"Орфея"*, тем более что в этом сердце уже не *"издательство"*, а лозунги - пути братства, Символа. В самом *"Орфее"* видится мне воскрешение аргонавтизма, но

воскрешенье по-новому; Орфей, символ Христа, один из участников аргонавтического похода, становится здесь нашим единственным Пастырем.

Где-то уже вдали стоит переболевший вопрос: как быть с символистами; Брюсов, утопивший *"Весы"* перебегом в *"Русскую мысль"*, скинут со счета, а в *"Мусагет"* является, как в Каноссу, покаявшийся *"грешник"* Вячеслав Иванов, ведомый нашей инспиратрисой, Минцловой; как не принять его, когда и он оказывается ее покорным учеником; мы не папы Григории: и на колени его не можем поставить; между тем: кается в своих мыслях о символизме и Александр Блок: кается в своем мистико-анархическом прошлом. Диалектика жизни, - не тактика, свершившийся факт: три символиста согласны теперь в своем символическом *"credo"*; перегруппировка это или нет - не приходится об этом теоретически думать, но приходится с этим весьма считаться.

Появляющийся Блок тональностью своей встречи со мною не то что склонен к *"ордену"*, но - повернут слухом в его сторону, между тем как Метнер, переброшировавший культуру *"Логоса"* символизм, в сущности, ограничивается лишь официальным расшарком пред заданиями символизма. Весьма характерный факт: он даже не прочел *"Символизма"*; и между тем: о деталях той или иной статьи *"логовцев"* он говорит увлеченно и подчас с преувеличенным почтением, подчеркивая, что штаб *"Логоса"* - лучшие философские умы Германии; и, таким образом, редакция *"Мусагета"* оказывается вдруг склоненной перед невидимым в ней присутствием: Риккерта, Христиансена, Ласка и прочих *"маститостей"*.

Это ли не пере-пере-брошировка заданий символизма фрейбургской философской школой?

Все это мне стало вполне отчетливо лишь в 1911 году; но гораздо ранее я заметил: систематическое убегание Метнера от дружеского обсуждения действенной программы символизма в *"Мусагете"*; и вместе с тем - систематическое вмешательство сперва в нашу с Эллисом инициативу двигать символизм, потом препоны моим заданиям; и позднее: препоны заданиям нас, трех символистов (Блока, Иванова и меня), быть автономными в затеиваемом по мысли Блока *"Журнале-Дневнике"*, искаженной тенью которого в 1912 году появляются миниатюрные по размеру, тяжеловесные по ритму и разнокалиберные по составу *"Труды и дни"*, засохшие в моей душе до... появления первого номера (от систематического, может быть, бессознательного вмешательства Метнера); я прилагаю руку к журналу не потому, что им горит душа, а потому что я в Москве являюсь единственным представителем *тройки* символистов (Эллис же уехал за границу); Блок и Иванов в журнале заинтересованы; я - менее их; а между тем: все теории и неприятности от соредатора, Метнера, достаются мне, и только мне; и самая горькая неприятность: муссирование Метнером разговоров о том, что журнал создается для меня (будто он мне нужен) и что *"Мусагет"*, так сказать, жертвует средства на эту мою прихоть; уже от одного этого прихоть моя мне горька, как *"горькая редька"*.

Но горечь свою я утаиваю до времени.

Моя связанность в *"Мусагете"* совершенно исключительна; всякая инициатива подвергнута, во-первых, явно подозревающей критике Метнера, совершенно неопытного в делах тактики (глаз Метнера *"глазит"* меня); во-вторых: подвергнута академическому разбору громоздкой коллегии из очень почтенных, но разноустремленных людей: Рачинский, Метнер, Степун, Гессен, Петровский, Киселев, Яковенко, - что общего между ними? Общее разве то, что *"комитетом"* Метнер связывает мне руки и ноги; кто вел журнал, знает, о чем я говорю: так невозможно вести дела, ибо дело инициативы - во-первых: вдохновение в улавливании ритма времени; во-вторых: быстрота и натиск в фиксации *"момента"*; статья, или книга, вовремя не выпущенные, - ужасный редакционный диссонанс; меня держат в состоянии систематического диссонанса; большего недоверия к своей инициативе я нигде не испытывал; в чужих мне по быту *"Весах"* со мною считались, как с имеющим ухо к *"моментам тактики"*; даже Брюсов с его ревнивостью никогда не вмешивался в темы мои, предоставляя мне *"ловить момент"*

и его *"платформировать"*. В *"Мусагете"* же водворяется тяжеловесная аритмия, но нас утешают, что аритмическая коллегия состоит из весьма почтенных, знающих многообразные предметы людей, будто очередной номер журнала - музейный каталог или энциклопедия.

Какая же платформа символизма возможна при понимании журнального дела как проблем... музееведения?

А задумано *"Дело"* было недурно; нужна была лишь ритмизирующая рука; такую рукою могла быть: рука Метнера либо моя; Метнер лежал на добре программы, как собака на сене (ни себе, ни другим); а я пыхтел, обложенный гносеологами (т.е. будущей профессурой), председателем Религиозно-философского общества и... музееведами, статей к моменту не пишущими, но разглядывающими месяцами статьи *"для момента"*.

К этим трудностям присоединилось еще мое трудное положение между деятелями *"Пути"* и *"Логоса"*. Деятели *"Пути"* (Гершензон, Бердяев, Трубецкой, Эрн, Булгаков, Рачинский) не были единообразною группою; и когда один из них, Эрн, выпустил безобразную книгу против философов *"Логоса"*, я, вместе с Метнером, отнесся с негодованием к позиции Эрна; стоя на платформе *"критицизм плюс символизм"*, я всемерно поддерживал значимость теоретико-познавательной позиции; но я не мог в этой позиции видеть последней цели, которая для меня была в пути символизма; а Метнер в защите *"Логоса"* именно перепрыгивал через символизм с гносеологическим пределом, который он не столько познанием полагал, сколько лирически воспевал; я не мог вместе с ним быть гносеологическим трубадуром; меня же насильно тащили в *"Песни"*; тем менее я мог сочувствовать огульному равнению *"логосами"* всех деятелей *"Пути"* по линии фанатизма Эрна. Гершензон, например, был мне гораздо ближе, чем *"логосы"*; и с рядом моментов позиции *тогдашнего* Бердяева я перекликался; у меня была индивидуальная позиция к каждому из деятелей *"Пути"* и *"Логоса"*. И линию различия я подчеркивал перед Метнером, обижавшимся за *"логосов"* как за *"своих"* и нисколько не обижавшимся на факт взятия *"логосами"* нас, символистов, кроликами для своих логических экспериментов; и выходило: когда к тебе подходил Гершензон с полным уважением и пониманием твоих лозунгов и ты перекликался с ним, то ты *предавал* уже не *"Логос"*, а *"Мусагет"*; когда же ловкой логической джиу-джицею у тебя отрезал в *"Мусагете"* символическую голову, в сущности, философский ритор Степун, то за это обезображивание надо было кланяться и благодарить.

В иных *"путейцах"* мне были близки ноты *"опытного пути"*, как бы они ни оформлялись; в этой ноте они стояли ближе к *"Орфею"*, чем даже иные из *"мусагетцев"* (не говоря о *"Логосе"*). И я отстаивал эти ноты - против Метнера, выдвигавшего мне обидные намеки о моем якобы *тайном* перебеге в *"Путь"* (чего не было); и на меня одного опять-таки валились все *"шишики"* (а братья-орфейцы и не думали *тут именно* поддерживать меня, ибо они не разбирали *"путейских"* идеологий, лишь *"гутируя"* их *"вкус"*, - не нравился; но разве на *"вкусе"* можно что-либо строить, кроме... снобизма?).

Словом: идеологически я был брошен в сеть противоречивых контроверз, потому что я хотел *символизма*, - не *"мистики"* и не плясания на задних лапках перед чужой гносеологией; но в чужих невнятицах, не понимающей цельной *темы* моей в ее мусагетской вариации, вырастал обиднейший миф о все и всех предающем путанике, не знающем, чего он хочет.

И поскольку эта легенда росла в *"Мусагете"* под высоким покровительством *"друга"*, Метнера, поскольку иные из *"друзей"* недостаточно парализовали ее, она, вылетая из *"Мусагета"*, начинала носиться по Москве в многообразных вариациях; так, с конца 1910 года началась сперва тайная, а потом и явная моя агония в *"Мусагете"*, где не было ни идеологии, ни настоящей интимности.

Но *"Мусагет"* был последним звеном, связывавшим с литературной культурой меня; и уход из *"Мусагета"* для меня означал: уход из всего.

Этот уход ускорился трагедией орфейской коммуны.

В третьем томе *"Начала века"* я подробно описал случай с Минцловой; ее посредничество между интимным кружком и учителями, долженствовавшими среди нас появиться, превратилось в хроническое состояние ожидания, во время которого на наших глазах нарушилось равновесие Минцловой; ее первоначальные ценные указания и уроки (позднее обнаружилось, что эти уроки - материал курсов Штейнера) все более и более отуманивались какими-то не то бредовыми фантазиями, не то кусками страшной действительности, таимой ею, но врывавшейся через нее в наше сознание и заставлявшей меня и Метнера чаще и чаще ставить вопрос о подлинности того *"братства"*, которого представительницей являлась она; ее болезнь и бессилие росли не по дням, а по часам; в обратной пропорциональности с все пышневшей *"фантастикой"* ее сообщений выявлялись странности ее поведения, оправдываемые лишь болезнью; а - *"они"*, стоящие за ней, в облаках ее бреда все более и более искажались; наконец, становилось ясным, что ее бессилие перед иными из умственных затей Вячеслава Иванова, которого она проводила в *"со-брата"* нам, выдвигали вопрос: кто же подлинный инспиратор ее - неизвестный учитель или Вячеслав Иванов? Иванов был ценным сотрудником и умным человеком; но я не мог забыть его двусмысленной роли в недавнем мистическом анархизме; для меня во многом Иванов был кающемся грешником, не более: весь же зсотеризм его был для меня лишь более или менее удачной импровизацией над материалом интимных лекций Штейнера, выцезенном у Минцловой (между прочим, - в его книге статей великий процент заимствований у Штейнера, часто субъективированных его личными домыслами); в разрезе *"братства"* В. Иванов выявлялся все более и более как чужой. Наконец становилось странным: почему все светлое в Минцловой сплеталось со Штейнером, от которого она в болезненном бреде как-то странно ушла, а все темное и смутительное отдавало теми, к кому она пришла и с кем хотела нас сблизить.

Мои сомнения в духе братства, в В. Иванове и в Минцловой под влиянием ряда жизненных случаев достигли максимума весной 1904 года, когда я решил твердо ей это заявить.

Вскоре после этого она странно исчезла: бесследно исчезла; исчезновение это, разумеется, не способствовало доверию к ее мифу о *"Розе и Кресте"*. Но этим был нанесен еще новый удар по моим мечтам о коммуне; в ударе же самая значимость *"Орфея"* как только издательской марки вполне аннулировалась; орфики мечтали об издании мистиков; для меня это издание имело лишь культурный, а не идеологический смысл; я не только не считал себя *"мистиком"*; я написал статью *"Против мистики"*, которая и появилась в *"Трудах и днях"*.

Я был символистом, т.е. я требовал критицизма, а критицизм и только *"мистика"* несовместимы.

Последняя точка связи с триадою *"Мусагет - Логос - Орфей"* - отпадала: я был свободен; но моя свобода означала: фактический уход из *"Мусагета"*.

8

Я хотел бы, чтоб меня поняли: я вовсе не собираюсь на этих страницах стать в позу какого-то непонятого героя; *"героического"* во мне нет ничего, а психология героизма в данный отрезок времени стоит передо мной, как пережиток далекого прошлого; современный герой и рыцарь -индивидуум; и когда я вглядываюсь в существо индивидуального, я вижу *"героизм"*, опрокидывающий во мне все обычные представления о героическом; образ современного *"героя"* есть образ скромной осторожности в условиях прозаически выглядящей окопной борьбы, а не образ трагических поз и бряцаний оружием; в правила поведения современного героя умение не быть раненым равно умению не бояться ран; современный герой должен уметь не выдвигаться наружно, но действовать в *"мы"*, с *"мы"*; современный герой есть фаланга, в которой есть и *"храбрецы"*, и самые обыкновенные трусы; гармонизировать *"труса"* в себе иногда

почетнее, чем подставлять грудь под пули; ибо и это подставление груди в иных условиях современности есть трусость, и только трусость; а частный аспект Дон-Кихота в сегодняшнем выявлении вчерашнего "героя" заставляет меня бежать от всего "героического", подсмотренного в себе. И если я повторяюсь в своей теме непонятости, то это только для того, чтобы познавательной в ней разобраться; фиксация "непонятости" моим сознанием есть фиксация одной точки, введенной в микроскоп; завтра я фиксирую другую точку поля жизни; и выступит *понятость*.

Тема непонятости интересует меня исключительно в социальном разрезе, где не понято каждое "я" в его индивидуально-социальном алкании; выражаясь словами Макария Египетского: еще не понята церковь, как состав человека; а между тем в церковный пленум этот состав должен быть введен, как *другая* часть той же социальной проблемы.

И отсюда уже вытекает, что я не бросаю теней на меня не понимавших "я"; я лишь делюсь догадкой: почему мы не понимаем друг друга; подсказ всей жизни: мы оттого не понимаем друг друга, что глядим друг на друга не из индивидуума "я", а из индивидуума, надевшего очки своей личной вариации и поэтому вынужденной видеть в другом "я" лишь такую же вариацию. Я этого долго не понимал, т.е. не понимал, до чего это действительно так, до чего в этом истинный корень всех социальных развалов; мы друг друга в разгляде друг друга все еще пришиваем к одежде данного дня, а она - изнашивается. Моя боль есть рассказ о том, как меня пришивали к одежде.

Может быть, в другой раз я постараюсь себе дать отчет в том, как я пришивал к одежде друзей; это - труднее, но не невозможно; такие отчеты нужны; без них никогда мы не придем к пониманию друг друга; и никогда не выпрямится без них наша социальная жизнь.

Оговорившись, что в моем страдании от непонимания нет ничего героического, перехожу к выяснению этого непонимания; мне думается, что перманентный скандал, случившийся от моей горячей попытки зажечь социально в каждом из коллективов и от горячих попыток зажечь со мной, происходил оттого, что я проводил сквозь все коллективы свое конкретное мировоззрение как *символиста*; в нем альфой и омегой был тезис: мировоззрения - узки; они методы; их много; синтез же их - пуст, потому что синтетическое единство самосознания только рассудочная форма в личном сознании; сознание же надличное, индивидуальное есть итог слияния этого рода форм энного рода самосознающих единств разных сознаний в ступенях самосознания; самосознающее "я" в его "*само*" уже не есть синтез рассудочный, но синтез в действительности: он в *третьем*, определяющем *второе* (личную форму) и *первое* (содержание); поскольку он ни *то*, ни *это* синтеза, он - не синтез, а *символ*.

Утверждая себя символистом, я в гносеологическом разрезе утверждал: единство самосознания Канта есть единство сознания, а не самосознания; и единство - в рассудочной зоне самосознания; антропософия развитие этой зоны в истории связывает с эпохой возникновения, с одной стороны, *личности*, с другой - рассудочного понятия; теория знания на базе домыслов Канта оформляет вспять события жизни мысли от седьмого века до начала эры до середины пятнадцатого столетия; когда организм этой мысли умер, то анатомы занялись его препаратом; если Декарт и Спиноза снимали мускулы с закончившей свое бытие фазы мысли, то Кант первым стал обнажать костяк; и в этом костяке обнаружилось, что понятия "*синтез*" и "*рассудочный синтез*" - тавтология; и всякие попытки иначе понять этот синтез - жалкие заблуждения, ибо понятие "*синтез*" спяно со второй ступенью мысли, рационалистической.

Пишу это, чтобы стало ясно упорство мое в нежелании оперировать термином, не приводящим ни к чему иному, как только к констатации, что наше "я" есть форма форм.

Но, утверждая "*символ*" вместо синтеза, я утверждаю, во-первых, что "я" не есть форма форм, коих содержание - "*личность*"; "я" есть "*само*" самосознания как преодоление и субъекций личного, и объекций общеформального (синтетического); в "*символе*" ритм связей энного рода возможностей выявления "я" в энного рода мыслительных культурах;

все это вытекает из разгляда самосознания. Утверждая в 1904 году свой символизм, я утверждал свой доантропософский подход к проблеме, поднятой теорией знания антропософии; если не синтез определяет символ, а наоборот, то - и "я" не есть форма форм, но - творимая действительность, которая всегда не данность, но творчески-познавательный результат; в моей идеологии символизма знак этого результата, по-новому освещающий акт познания, и был знак Символа, как действительного пересечения *одного* ряда *другим*; только здесь путь к преодолению и эмпиризма, и гносеологического дуализма Канта, и абстрактного разрешения проблемы знания в рационализме Когена.

В терминах теории знания Штейнера я не мыслил в эпоху 1901 - 1911 годов; но термины моей теории знания, как бы они ни казались странными в словесном взятии, указывали и познанию, и творчеству выход в том же направлении, в каком он указан Штейнером.

Моя борьба за символизм, за теорию символизма и за ее девизы (за преодоление эмпиризма, рационализма, но не по Канту) была в полном согласии с тем, к чему я и не мог не прийти в 1912 году, ибо я и был в том, к чему пришел; мой приход был приходом к иной терминологии, ставшей мне удобной для диалектического осознания ряда гносеологических следствий из общих тезисов.

Мой девиз "*символ*", а не "*синтез*" мне означал в линии лет: ищи пути жизни и мысли в *этом*, а не в *том* направлении; и я боролся за "*символ*", ибо без этого знака я видел неизбежные свихи: в рационализм, догматизм, синтетизм, эмпиризм, эстетизм, мистику и т.д.

Трагедия моих всех познавательных споров - в том, что, считая акт познания творчеством нового мира, я не мог не видеть, что расхождение здесь есть расхождение и в развиваемом быте жизни; эмпирическая ссора личностей Бориса Николаевича, Льва Львовича, Сергея Михайловича, Эмиля Карловича есть лишь неизбежное следствие неясного понимания Логоса логик друг друга; и оттого-то мой основной удар и упор был в твердости конкретно-познавательного знака, выверенного как нужный и ценный; знак Символа не был для меня знаком Символа веры или знаком символа отвлеченного знания, но знаком конкретного и верного знания и знаемой веры. Символизм, стоявший передо мною как стройная теория знания и творчества, был символом *веры и знания* новой эпохи, обнимающей, может быть, столетия будущего; я подымал знак столетий; и отстаивал знак против будущих ариан, несториан и прочих уже мне видимых сектантов, отклоняющих путь будущего.

Вот источник моей запальчивости, идеологических преи и контроверз.

В 1911 году я видел, что выход Эллису из его скептической теории соответствия лишь абстрактный монизм, что Метнер проваливается в ущелья дуализма, что ему предстоит выбор между рационализмом Когена и одним из многих "*эмпиризм*ов" (он и выбрал себе - "*эмпиризм*" Фрейда), что С. М. Соловьев катится в традицию, что некоторые из орфейцев - слишком "*мистики*" и т.д. Поскольку этих людей я брал в ноте их протянутости к новой культуре (для меня - символизма), я не мог уступить им Символа моих веры и знания - тем более что они были дороже мне в их стремлениях к пути жизни; с каждым ведь в тот или иной период я был кровно связан; и эту *связь* в Символе держал хотя бы... в воспоминании; отсюда моя одновременная разность полемик и тактик, неумелая попытка быть с эллинами, как эллин, с иудеем, как иудей; более всего оскорбляло меня то именно, что меня не видели в пафосе устремления к *верности*; ведь "*противоречивость*", "*неверность*" вытекали из лозунга, который всегда инстинктивно был мне ведом: *истинное есть всегда индивидуально истинное; истину познают лишь в ее восстании в индивидууме*; эти лозунги Штейнера, сформулированные им за много лет до моих дум, но мне неизвестные, вместе с лозунгами о необходимости брать понятия о правде в круге понятий, или "*истин*", ведь были и лозунгами моей "*Эмблематики смысла*", пусть спешно и невнятно набросанные, но не *до такой же степени, чтобы друзья имели право отказаться от понимания стремлений, их диктовавших*.

Мне и теперь стыдно подчеркивать, что курс 1914 года Рудольфа Штейнера "*0 макро- и микрокосмическом мышлении*" есть антропософская, но *полная* транскрипция моей "*Эмблематики смысла*"; тут и там попытка вопрос о мировоззрении заменить теорией мировоззрительного контрапункта; тут и там усилие показать, что надо выйти из мировоззрения в их круг; тут и там мировоззрение расширяемо в микрокосм; у Штейнера микрокосмическое мышление есть дедукция макрокосма; у меня выход к макрокосму есть конечная индукция из вершины пирамиды познаний; совпадение - до частных; и тут, и там взят треугольник; у Штейнера как проблема невозможности рационалистически прийти к реальности общих понятий; у меня как ритм преодоления очередной антиномии (формы и содержания) в третьем, как *символе*. "*Эмблематика смысла*" в ракурсе схемы есть разгляд пирамиды, построенной из градации антиномий, преодолеваемых в *третьем*, как вершине треугольника. Обе позиции (Штейнера и моя) суть в разгляде рационализма - диалектический метод; у Штейнера - диалектика мировоззрений; у меня - диалектика методических схем, поданных клавиатурой.

В конце концов: Штейнер мог бы назвать XXXIII курс "*Эмблематикой смысла*", а я мог бы назвать "*Эмблематику*" хоть бы "*Диалектика преодоления микрокосмического мышления в макрокосм*".

Суть не в разности терминов и подходов: суть - в сути.

Как этой сути не увидели: 1) те из друзей, которые в 1912 году обвиняли меня в предательстве "*символизма*" (Метнер, В. Иванов и сколько), 2) те из друзей, бывших аргонавтов, потом антропософов, которые, прочтя XXXIII курс, не поставили знака равенства между ним и "*Эмблематикой*".

Повторяю, - пигмею, мне, - стыдно подчеркивать свое сходство в идеях с гигантом; не ради пустого тщеславия я это делаю, а чтобы стало ясно и тем, кто не понял меня в моем якобы перебеге к Штейнеру, и тем, кто не увидел меня в Штейнере до этого перебега, - чтобы стала окончательно понятной моя несносная принципиальность в требовании "*символизма*" и в невозможности уступить его ни "*мистикам*" из "*Орфея*", ни "*логосам*", ни культуре Метнера, ни традиции "*Пути*", ни снобизму "*Весов*", ни "*мистическому анархизму*" Петербурга. Я ходил по годам, с хрипотой вопя: подмена, подмена, подмена. В сознании стояла теория символизма; ее случайная фиксация - "*Эмблематика смысла*"; и раз эта последняя в энном ряде пунктов своего устремления совпадала с не знакомой мне еще методологией Штейнера и с его учением о мировоззрении, то понятно, *за что я боролся и чего не мог уступить*.

Я боролся за верстовой столб с рукой, указывающей направление к *духовному знанию*.

Это - в сторону друзей - антропософов.

А в сторону неантропософов *инекогда* друзей скажу другое: как не видели они в пафосах своего "*да*" мне и в 1901, и в 1904, и в 1906 годах в моем "*символизме*" прорастающей "*эмблематики*", т.е. руки, указывающей путь: не к Канту, традиции, эстетизму, мистике, "*окультизму*" в кавычках, религии, догмату, - а к *духовному знанию*. Или во мне всегда гнезился губительный "*штейнеризм*"; или никакого "*штейнеризма*" не было в эпоху моего вступления в "*Антропософское общество*"; ибо я, пигмей, и Штейнер, гигант, пересекались всегда в исключительной нелюбви к "*измам*".

Вот чего я не понимаю в непониманиях меня; и горько стоял над этими непониманиями, постоянно поворачивая в эту сторону разгляда меня в антропософии и антропософов, и неантропософов. И те, и другие с исключительной неохотой, почти с непосредственной враждой останавливали во мне эти попытки договориться: либо молчанием, либо не вполне тактичной переменной темы разговора, либо оскорбительным подозрением меня в хвастливости, неправде, либо диким криком и ругательствами (как Метнер), либо участием в распространении сплетен обо мне, как впадшем в прострацию (как Блок в своем "Дневнике"). Я же стремился, чтобы меня поняли и в антропософии, и в неантропософии, ибо в антропософию я внес свой "*символизм*" и в своем доантропософском, "*аргонавтическом*", "*весовском*" и всяком другом символизме был

антропософом, медленно раскрывающим антропософию в своем "я", пусть ошибочно, но автономно.

Думается мне, что такое нарочитое неуслышание меня в 1912 году (в бытность мою в "Мусагете") всем пленумом мусагетцев, такое же нарочитое неуслышание меня через два с половиной месяца (в том же году) после моего разговора со Штейнером тем же пленумом мусагетцев (с орфеиками и "логосами"), обвинявших меня в чем-то (в чем?), происходило именно потому, что никто не прочел моей "Эмблематики смысла", зная, что я за нее держусь, как за скудельный намек на ненаписанную систему, плод усилий мысли всей жизни моей (от гимназических раздумий до тридцатилетнего возраста); верю, что эта статья написана трудно, написана плохо (не в мысли, а на бумаге); но ведь она же намек на итог жизненных борений, даже *опытного пути*. Человек поставил себе задачу - жить с друзьями, для друзей; все его личные несчастья от утопизма на этой почве; даже самая неудачность и спешка в написании "Эмблематики" - от разгрома журнализмом готовой системы идей, которую не было времени закрепить на бумаге; а сам журнализм и переутомление в нем опять-таки потому, что эмблема столба с рукой к духовному знанию, или "символизм", профанировался и подменялся в рядах символистов же; неужели десятилетие дружб, интимных разговоров в том, чтобы отвернуться от разбора того, что "друг" считал интимнейшим и серьезнейшим (о, насколько более серьезным, чем писание стихов и "Симфоний", или участие в "мистических" братствах).

И позднее - длилась эта тягостная для меня духота в этом пункте общения не только с врагами антропософии, но и с антропософами; дело доходило до того, что меня срывали в попытках поставить тему моего "символизма" в моей антропософии прямыми словами: "Это - неинтересно".

- "Как неинтересно? - мог бы я воскликнуть в 1913 году, когда вся душа моя ушла в интимные темы курса, прочитанного в Лейпциге. - Как неинтересно? Ведь разговор идет о том, что без проведения темы *индивидуального* взятия антропософии она в нас вырождается (лозунг Штейнера)"; мое, индивидуальное в антропософии ведь было именно переработкой в ней доантропософской жизни. - "Если это неинтересно, к чему маниловщина с "Антропософский друг"? Какие же мы "друзья", если мы друг другу неинтересны в нашем "индивидуальном"?"

И теперь с точки зрения очередной антропософской моды говорить об интеллектуальности как *меча Михаила* в борьбе со злом позиция "Эмблематики", пусть косноязычно высказанная, и есть позиция этого "меча", ибо в ней лозунги 1) *символизм плюс критицизм*, 2) *свобода эмблематизации*, переходящая в моральную фантазию, 3) вынесение сферы *символа* из всех эмблем - такое же, как вынесение сферы воздействия импульса Михаила над всеми покровами, ибо *символ* дан здесь и как предел пределов, и как "нечто" конкретное (не "ничто").

Очень мне было важно себя объяснить в этом именно пункте во избежание будущих недоразумений.

Оговариваюсь: эти слова мои не суть обвинение, но пояснение, как тема дум о "непонятности" развивалась в годах жизни.

Вместе с непониманием моей идеологии шло непонимание моих художественных путей; тут непонимание не было мне столь горестно: как мастер-ремесленник, я прекрасно разбирался в своих достижениях и падениях: лозунг художника о том, что он сам свой "высший суд", мне был свойственен, и не раз написанное подвергалось мною страшному суду; поэтому я не углубляю всех непониманий меня на этой почве; скажу лишь летуче, что мой показ, робчайший, одному из друзей "Северной симфонии" (в рукописи) в 1901 году встретил в полной степени угадывающую мои искания в сфере искусства реплику: "Я думаю, что литература не для вас". Я подумал: "Если и этот не понял, то где мне, куда мне?" Голова и руки повисли плетью: художнику нужен суд, критика, но именно мотивированная, чтобы ему было ясно: *в чем непонимание*; немотивированные приговоры, молчание, как и беспрокие "хвалы", разбивают творчество; я выпускал книгу

за книгой, а от многих близких друзей - ничего не слышал: *ни да, ни нет*; не обижался, но - очень огорчался (брань, как и только хвала, - не задевала; но *молчание* - убивало); художник без сердечного общения с ним, как с художником - все равно что неполиваемый цветок: он - чахнет. В эпоху моего решительного перехода от *романтики* к *реализму* (символизма) я был также брошен; никто меня не встряхнул за "*Кубок метелей*", потрясающе "*промолчанный*", и я, в испуге, рикошетом, кинулся к быту, к народу, приподымая тему "*Распутина*" в процессе ее выварки в народной гуще; не углубляясь в то, что и *тут меня не поняли*, отмечу: многие из друзей, близких ни звуком не откликнулись на "*роман*", и у меня было впечатление, что "*художник*" во мне проживает для них на луне, а "*художник*" все время затрагивал общие всем нам *темы жизни*: в символах. Когда же я писал "*Петербург*", то все меня ругали, терзали, требовали мелкой редакционной работы, "*прей*"; в "*Мусагете*" казалось мне, что дебатлируемый часами вопрос о *шрифте* есть вопрос всемирно-исторической важности, перед которым мои задачи о форме и о смысле фабулы "*Петербурга*" просто "*бактерии*", недоступные разглядению; между тем я писал о вещах, которые стали историческими фактами: об исчезновении Петербурга, революции, кризисе русской общественности; но, как в эпоху первой "*Симфонии*", мне было сказано: "*Это - не литература*" (новизна формы, может быть, романтика); так, о "*Петербурге*" запомнилась мне одна фраза после прочтения отрывков из него: отчего я не пишу в стиле писательницы Крыжановской; "*Петербург*" казался скучным, неприятным, прозаическим, "*не оккультным*"; надо было писать о переселении на иные планеты, а не о том, что *завтра провалится Петербург*. И кроме того: все меня попрекали, что я оставил "*Симфонии*": оставил же я форму "*Симфоний*" отчасти и потому, что "*Симфонии*" писались и подавались - *в круг молчания о них друзей*. Теперь сожаления о "*Симфониях*" мною воспринимались как огульное порицание "*Петербургу*"; а ведь его не приняли в "*Русской мысли*"; и никогда я так не нуждался в моральной поддержке, как в эпоху работы над "*Петербургом*". Позднее, когда роман стал далеким и его провозгласили чуть ли не пророческим, я думал: "*Что мне теперь эти признания; если бы одну сотую внимания мне уделили как художнику, когда художник нуждался в поддержке, то "Петербург" был бы куда серьезнее*".

Я был художественно не признан в кругу друзей, отвергнут редакцией, заказавшей роман, с недописанной половиной, которую отчаивался дописать, и я был человечески заподозрен в "*Мусагете*", кроме того: я был без денег.

Ко всем крахам присоединялась боязнь другого краха: краха романа, которого в атмосфере такого непонимания и подозрения написать невозможно.

Эта мысль о *дописании* романа с сознанием, что не я бросил "*Мусагет*", а "*Мусагет*" меня бросил и что только в полном одиночестве я могу справиться и с мыслями и просто с *трудом*, от которого зависит мое материальное бытие, - эту мысль обусловило не только мое *бегство* из Москвы и "*Мусагета*", но и бегство с "*вырывом*"; мне ставились все препятствия к отъезду и не обещали облегчений в случае неотъезда: понятно, что мой панический вырыв в Бельгию и жесты этого вырыва, напоминающие агонию, были борьбой и за элементарную свободу, и за верность идеологии, и за "*художника*" во мне; в Москве он уподобился растению, не только не поливаемому влагой, но, наоборот, поливаемому едкими кислотами.

Я - бежал.

Случилась старая сказка:

Я бросил грохочущий город,

- как и в 1904, как и в 1906 годах.

9

В апреле - мае 1912 года события внутренней жизни неожиданно приводят меня к личной встрече с Р. Штейнером; но эта встреча ведет к моему присоединению к "*Делу*"

Штейнера, в котором для меня проясняется следующий этап моего же пути; после "Эмблематики", несовершенного сколка к мне ясной теории, установка которой аналитическая, меня должны были заинтересовать вопросы диалектики; *диалектика* - выход из *аналитики*, которая - *статическая* схема, нуждающаяся в *динамике*; и этой динамической диалектикой является для меня антропософия, ставящая удар на проблемы культуры мысли в самосознании; и уже из самосознания выводящей диалектику состояний сознания, спаивающей в конкретный плюро-дуо-монизм природу и культуру; внутренние же мотивы приближения к Штейнеру определились всем строем исканий "пути" с 1909 года (а отсюда и опытного руководителя); после "краха" с Минцловой искание руководства в сферах, указанных Минцловой, пресеклось, а "препоны", стоявшие между моим подходом к Штейнеру, пали; они заключались в одностороннем и предвзятом недоверии к христологии Штейнера; подход к христианским курсам и лекция "Христос и двадцатый век" сняли недоразумение в трактовании мной (сквозь призму Минцловой) христианских воззрений Штейнера.

Путь от "Символизма" к антропософии для меня оказался продолжением пути, уже мной намеченного в "Эмблематике", а удивительные указания Штейнера мне над установкой методов внутренней работы и постоянная возможность общения на почве этой работы естественно ввели меня в коллектив личных учеников Штейнера; вступление в "Антропософское общество" было лишь внешним оформлением давно назревшего внутреннего факта; человек, еще в 1907 году кончающий статью "Нищие" цитатой из Безант о "высшем сознании" и на протяжении пяти лет упорно думающий и читающий литературу на эти темы, должен был в 1912 году оказаться в рядах людей, сгруппированных вокруг Штейнера. Никакого зигзага в пути не произошло.

С той поры особенно осязаю тесный знак равенства между моей стародавней сферой Символа и сферой Христа, вторично грядущего в новую культуру (для меня - символизм, для Штейнера - антропософия); в циклах Штейнера я имею гнозис о Христе, впервые удовлетворяющий и познавательно, и опытно (т.е. в согласии с опытом моих переживаний эпохи "Симфоний"). Напомню: испорченный мной в эпоху мрачных 1906-1907 годов "старый" текст 4-й "симфонии" (написанный в 1902 году, искаженный в 1906 году в "Кубок Метелей") переполнен фразами "Пора мне в этот старый мир... Я несущу парчовые ризы всех вещей". Или: "Гряди, жнец, гряди... Скажи: Я - с вами"... Се жених грядет жатвою...". Еще в 1902 году в этих фразах для меня - ритм пришествия сферы Символа, или Христа. В 1912 году мне вполне ясен гнозис переживаний этого рода - в циклах Рудольфа Штейнера, не говоря уже о том, что аналитически подымаемые "Эмблематикой" стародавние темы многогранности, комплексности, символизаций, диалектически мне вскрыты в антропософии; а трехчленность в идее сфер Символ - символизм = символизация, полифонно устанавливаемый в контрапункте методических триад (теза - антитеза - синтез, форма - содержание - эмблема символизации), находит свою диалектическую конкретизацию в контрапункте "7", где 1, 2, 3 суть абстрактно представимые теза, антитеза, синтез; неповторимое "4" - целое их в культуре индивидуального комплекса, а 5, 6, 7 суть синтез, антитеза, теза в символе целого; так семирядность являет собой триаду (1, 2, 3), развернутую в ширящуюся спираль, в которой "1" (тезы) уже - 1 - 2 - 3, "2" (антитезы) - 4, а 5 - 6 - 7 (синтеза) - "3"; но и эта тенденция к расширению любого треугольника схемы моей пирамиды эмблем в "Эмблематике" имела свою отметку в тенденции рассматривать треугольник высшего порядка, как сложенный из "4" треугольников, где ~~~~ изучался в ~~~~(см. "Эмблематику"); закон разверта, или диалектика изменения смысла в триаде от взятия ее в комплексе четырехзначной триадности, и есть ритм антропософской семерки, как бы слияющейся сочетать "троицу" с пифагорейским "четыре" в проблему седмиричности ($3 + 4 = 7$).

Намек, здесь ставимый мною, конкретно изучался всесторонне на протяжении 16 лет (с 1912 до 1928-го); но и в 12-м году он был мне непосредственно ясен, как намек на возможность развертывания "Эмблематики смысла" в культуре антропософии.

Это ясное и более чем понятное согласие себя с собой (*символиста с антропософом*) оказывалось для всех непонятным; надо было иметь *минимум* здравого смысла в усвоении моего идейно-морального облика всей линии лет и *минимум* здравого смысла в усвоении антропософии (хотя бы из критицизма), чтобы не поднимать, с одной стороны, воплей о моем ренегатстве как символиста и, с другой - не поднимать дотошно-сентиментального стиля нравучений мне, что, мол, пора наконец отказаться от познавательных заблуждений "*Андрея Белого*" и с полным отказом от свободомыслия пассивно воспринимать основы "*сверх-человеческой*" мудрости Рудольфа Штейнера; последние указания тотчас же поднялись из антропософского лагеря, весьма затрудняя мне и без того трудное положение - лавировать между антропософской "*догматикой*" и "*догматикой*" антропософобии; с тою и этой "*догматикой*" для меня все было кончено в стародавние времена, когда я выдвигал старый лозунг "*критицизм плюс символизм*", так что я не понимал, ради чего я должен был *каяться* перед антропософами и антиантропософами.

Между тем к этому моменту покаяния меня возвращало письмо Метнера в Брюссель, воспринятое как грубый удар кулаком в спину после моего "*бегства*" от его московских придирок; к этому же моменту меня возвращали сухоназидательные, как бы подозревающие в чем-то письма "*орфеиков*", из которых двое были... антропософами.

К ярчайшему моменту радости встречи со Штейнером присоединился горчайший момент иррационально неприятного отношения ко мне всех из Москвы - за что? За то, что я 1) усиленно строчил статью в "*Труды и дни*" о символизме, который выдумал от меня защитить мало что в символизме усвоивший Метнер, 2) что я в то же время усиленно писал "Петербург", который упрекавшие меня в гибели люди поздней встретили как лучшее мое произведение, 3) что я, кроме того, внимательнейше изучал антропософскую литературу, а потом и посещал лекции Штейнера, отдаваясь упорной медитативной работе, за которую не раз получал яркое одобрение от самого Штейнера.

Я, как нарочно, в этот период старался угодить всем: 1) требующих от меня верности *символизму*, 2) искусству, 3) успехам в пути антропософского гнозиса; за последний я получал похвалы лишь от Штейнера сквозь строй попечений обо мне музей-антропософов, чтобы я не зазнавался и знал себе место (я и не зазнавался); за успехи в писательской карьере (как-никак писал "*лучшую*" свою книгу - по позднему мнению многих антропософских "*врагов*") - за успехи здесь получал лишь назидания, что - погиб для искусства; а за усилия писать на тему: что есть "*символическая школа*" получал реплики: предал "*символизм*".

Тщетно бросался я с объяснительными письмами, что ничто не изменилось, к Метнеру, Киселеву, Рачинскому, Морозовой, Крахту; художественная, философская, религиозная и буржуазная Москва постановила: "Погиб, впал в идиотизм". Метнер под флагом сожаления обо мне не только разносил эту легенду по московским салонам, но и завез ее в Петербург, а Блок, к которому я обращался с роем объяснительных писем (понятно - он один мне меня *не ругал*), все объяснения обмолчал в "*Дневнике*", куда он заносил мелочи, вплоть до заявлений о том, что "*выпил бутылку рислинга*"; легенду же Метнера, обидную для меня, без оговорок закрепил в "*Дневнике*": мне в "*заупокой*" и в "*воздравие*" клеветникам.

Что меня считали не символистом и что по этому поводу сожалели люди, задавившие символизм в "*Мусагете*" (Метнер, "логосы" и т.д.), - явствовало хотя бы из того, что приехавший ко мне в Базель Вячеслав Иванов с грустью спросил меня: как быть с символизмом после моего ухода из нашей символической тройки (Я - Блок - Иванов); а я вскоре после этого в Фицнау продолжаю строчить две статьи: "*Круговое движение*", "*Линия, круг, спираль символизма*", в которых "*символист*" поддерживает символизм с яркостью, о которой отзывается Метнер в Москве, что в статьях будто бы "*искры гениальности*"; и, несмотря на "*искры*", я - идиот: очевидно, "*искры гениальности*" вспыхивали не в голове, сердце или воле, а в ... "*пупке*" (простите за выражение); я вообще разглядел черту, свойственную многим в отношении ко мне как художнику, мыслителю,

лектору, публицисту; все мои достижения относились не к мучительной работе сознания, моральной фантазии, сердца или хотя бы работе в поте лица, взывающей к дисциплине "мастера", а к "таланту", вспышки которого - чрево (нечто вроде желудочного урчания, но - приятного); оттого-то так была жива версия о моем легкомыслии и непоследовательности; и оттого-то многие друзья не только не ценили моего творчества, но прямо-таки рассматривали его как нечто, препятствовавшее мне быть человеком; и я понимаю, что при взгляде на "талант" как животный урч, человек талантливый - вещь стыдная в своей безответственности. За темперирование во мне "художественного урча" и принялись самозванные педагоги из антропософов.

Мне все трудно давалось; я более, чем кто-либо, работал: *в поте лица*; выходило: музеевед Киселев - это вот человек почтенный; почему?

Да не может до конца довести ни одной из работ: из ответственности. Я же, работу до конца доводящий, именно поэтому *не заслуживаю доверия*: талант. Даром дается.

"Взурчу" - и книга о 600 страницах.

Отсюда - режим опеки, строгости, переходящий в игнорирование и третирование (за 600-страничные книги); надо было мне выявить себя как плод гранаты сухой, из которой "тицетно тцатся" выжать. Разумеется, такие мысли происходили в бессознании "сознательных"; что делать, если мне, "бессознательному", сознательно увиделась уязвимая пята бессознания в "сознательных". Разрушать предрассудок тысячелетий и водворить истину, что писатель есть или тип самосознающего, или - пустоцвет, - предприятие неподспудное.

В сущности, одаряя меня "талантом", венчали меня именно этим пустоцветным венцом.

10

Мне трудно подходить к последнему крупному этапу непонимания меня, взятого в социальном разрезе; трагедия с антропософской средой, моим последним убежищем, длилась 15 лет; и остротой, и длительностью она превышала другие трагедии; если я уделил 12-летию литературной жизни (1900 - 1912) столь много места, то сколько же мне места уделить антропософской трагедии? С другой стороны: эта последняя ближе; не все еще мне видно здесь; эмоция еще рябит мне поверхность воды жизни, в которой отражается мое "я".

Все это обуславливает мою лапидарность: постараюсь говорить сухо о том, о чем мог бы говорить в бесконечных подробностях.

Считаю началом своей антропософской общественности мое появление в Мюнхене в июле 1912 года.

И тут скажу не о людях, а о восприятии мной всей среды, взятой в ее среднем уровне.

В Москве меня объявили погибшим; в Мюнхене меня не объявили ничем, потому что там я был ничем; в месте сложности проблем, составлявших содержание моей жизни, и в месте сложной литературной деятельности было *ничто*, в которое меня усадили; для гостей это было понятно; человек, пришедший со стороны, никому не известный, ведь мог оказаться всем, чем угодно; в момент появления я был *ничем*; и я ждал - сперва в неделях, потом в месяцах, наконец, в годах, когда же из этого "*ничто*" для среды, в которую я пришел жить и работать, вылупится хоть что-нибудь из того, чем я был в действительности; но ничто не вылуплялось; *ничто* оставалось *ничем*; лишь в годах, на этой пустоте, бывшей в месте моего сложного морального мира, на границе социального моего выявления в западном обществе, как на скорлупе яйца, содержание которого - *ничто*, наслаивались какие-то весьма странные узоры, мне весьма неприятные, слагавшие даже не карикатуру, а просто чужую мне жизнь, ни в одном пункте не соответствовавшую моей жизни; и эта жизнь являлась мне восприятием меня: таким я был для среднего уровня среды, в которой провел четыре года жизни; этот "*он*", или "*херр Бугаев*", был

наивным, непритязательным простаком, которого мало удостаивали беседой и уж конечно не удостаивали привлечением к активной работе в Обществе; образование "*херр Бугаев*" вряд ли простиралось выше третьего класса гимназии; он мог быть кем угодно - писателем, философом, слесарем, маменькиным сынком или кафрским Наполеоном - в обществе он был ничто с надписью на обложке: "*херр Бугаев*". А то, чем он себя называл, - не играло роли; пятилетние мальчишки себя называют в играх и "писателем", и "Наполеоном"; никто этим не потрясается; верно одно: они - "*маменькины*" сынки; ну и случилось то, что тридцатитрехлетний уже "*херр Бугаев*" в сознании многих в обществе был пристроен в сынки к "*маменьке*"; "*маменькою*" такой сделали мадам Штейнер; одни справедливо возмущались картиною тридцатитрехлетнего "*бэби*" в коротенькой юбочке, ведомого "*маменькой*", но негодование свое перенесли на меня, ибо гнусный вид "*бэби*" приписывали моему хитрому и весьма подозрительному подхалимству; другие же, относясь с доверием к моему ими созданному мифу о наивном "*простачке*", - всерьез принимали великовозрастного лысого "*бэби*"; эти последние называли меня: "*Унзер херр Бугаев*".

Меня спросят, как же я не разрушил "*мифа*"? Но что я мог сделать, когда меня ни о чем не спрашивали, когда на все попытки мои обнаружить действительность моего мира идей, круга забот, переживаний я встречал даже не противление, а глухоту, напоминающую глухорожденность; в чужой глухорожденности сидел закупоренный русский писатель, четыре года, как в бочке, переживая подчас чувство погребенности заживо; а в это время на поверхности бочки без возможности моей что-либо предпринять разрисовывались и "*бэби*", и "*буки*", и святой идиотик, в идиотизме росший в грандиозную чудовищность сверх-Парсифаля, и лукавая, темная личность, неизвестно откуда затершаяся в почтенное немецкое общество: втереться в непонятное доверие Рудольфа Штейнера, его жены и нескольких учеников Штейнера, "*наших уважаемых деятелей*" (Михаила Бауэра, Софии Штинде и других).

Так дело обстояло со средним уровнем среды, или с равнодействующей многих сотен антропософов, представителей многих сотен антропософов, представителей 19 наций Европы; и этот средний уровень *сотен* и *сотен* обстал меня плотным кругом *десятков* и *десятков* общений, которых нельзя было избежать и которые заключались или в разговорах о "*ви шен*", "*ви тиф*" лекции Штейнера, или в непрошенных назиданиях меня о том, что у человека "*семь оболочек*"; средний немецкий антропософ исчерпывается в цыпочках своего стояния перед Штейнером, в необыкновенной болтливости и назиданиях новичкам, сим козлам антропософского отпущения (так я четыре года и просостоял в "*новичках*") очень невысокой культурности и в любви к слухам и сплетням (окультурным и неоккультурным).

В быт этого среднего уровня и вынужден я был засесть, как в бест, после своего бегства из России.

Представьте ж себе мое действительное положение: прищемленный мифом о моей гибели, растимым в России, с одной стороны, и прищемленный двоякого рода легендами (о "*святом наивце*" и о "*прохвосте*") антропософских мещан, - я должен был вырабатывать непредвзятость, контроль мысли, инициативу, равновесие, перенесение обид и семь ступеней христианского посвящения (от омовения ног до бичевания и положения во гроб), т.е. добродетели, необходимые для нормального прохождения "пути посвящения"; у меня были отняты, в качестве средства общения с людьми, мой родной язык (в немецком языке я косноязычен до ужаса), отнята возможность познакомиться с своим внутренним миром (меня *грубо* не выслушивали), отнята рекомендация меня извне (я, как "*небезызвестный русский писатель*"), ибо всякая апелляция к "*Андрею Белому*" в недрах антропософского Мюнхена была "*чванством*", за которое я, "*бэби*", получал шлепки от добровольных воспитателей; наконец - отняты были и "*книги*" мои.

Так я со своею сложною 30-летней жизнью действительно погиб в безвестности внутри среднего уровня "*А. о.*"; и в 1913, 1914 годах я всерьез думал, что меня уже "*нет*"; все

личные вариации моего "я" упразднились под "общими скобками", на меня надетыми; но зато безобразное, безъязычное, связанное по рукам и ногам в выявлении индивидуальное "я" поднялось над пленником воистину на орлиных крыльях: такого подъема, взлета узнаний я никогда в жизни не переживал; и этот *взлет* нес меня, минуя людей, к моему учителю Рудольфу Штейнеру, от которого я за четыре года получил безмерное.

Разумеется, Штейнер не относился ко мне по линии среднего уровня своих слушателей; спросят: почему же он *не нашел мне* в "А. о." более подходящего быта; для объяснения этого явления должен бы я разразиться трактатом о сложном, трудно понятном, парадоксальном отношении его к "А. о.". Ведь он даже не был членом "А. о.".

Впоследствии я встретил в "А. о." ряд людей, от которых ко мне протянулись подлинные отношения; вследствие ряда причин, о которых здесь не скажешь коротко (опять - тема трактата), отношения эти оставались не видными для других; я попал в какие-то "никодимы"; "старшие" меня принимали, понимали, считались со мной, но - при закрытых дверях, так сказать; антропософский быт, посадивший меня в "ничто" и принимавший за "ничто", действительно не понимая знаков внимания, мне расточаемых Штейнером и некоторыми его учениками: отсюда легенда о *темной личности* (у злых) и о "святом простачке" у других (вероятно, добрых); любовь ко мне Штейнера и Бауэра, внимание мадам Штейнер ведь могло адресоваться к чистоте сердечных движений этого "наивного создания".

Не спрашивайте меня об этой мучительной и позорной стороне четырехлетия моего быта жизни (позорной - не знаю для кого: меня, что не умел отстранить его, других ли, меня одевших в позор); знаю лишь: хорошо, что русские не видели "Андрея Белого" в одежде скомороха; и опять-таки не знаю, для кого хорошо: для меня или для тех, кто не видел; даже враги мои в России содрогнулись бы, как был принят антропософским Западом русский писатель, пусть спорный, пусть малопонятный; может быть, у Игнатовых, Мельгуновых, Яблоновских и прочих, не нежно относящихся ко мне, вырвалось бы: "Позор для антропософской Германии, что *такое* случилось".

Но тут меня спросят: "Стало быть, Мережковские, Блок, Метнер, Булгаков, Бердяев и прочие, хоронившие вас, были правы. Вас и похоронили от 1912 до 1916 года?". На это отвечу: "Мне нет дела до того, что немецкий быт поместил русского писателя в пустую бочку и не отвел ему приличного места в обществе; это относится к идиотизму среды; что касается меня, - я это видел, сознавал, хотя и молчал: положение трудное, - но эта "бочка", в которой я зажил, была мне в условиях трезвого ума и твердой памяти еще немного и Диогеновой бочкой; нечто от бочки Диогена появилось во мне; и когда я вышел из нее, то стал ходить с фонарем и искать *человека*, которого все еще слишком мало - и в антропософах, и в неантропософах.

Так бы я мог ответить.

И теперь скажу: соединение того огромного опыта, который во мне отложился от 400 лекций Штейнера, медитаций, эсotericеских уроков и "никодимовых" приходов к Штейнеру с сидением в бочке, сознательных и бессознательных оплеваний и заушений моей брэнной личности в России и "А. о.", - все это, плюс тяжелая трагедия уже личной жизни моей, выявили в моем "я" и нечто от Диогена.

Из бочки, над бочкою увидел я мое "я" - высоко над собой; оттого-то я взял-фонарь и несколько лет говорил о человеке, как *Челе Века*. Знак этого Чела на мгновения вспыхивал и над моим челом... в Дорнахе, когда это чело венчали тернии.

К большим событиям внутренней работы под постоянным контролем доктора Штейнера относится принятие меня в круг посетителей эсotericеских уроков (так называемые "эзотерише штунде") весной 1913 года и в более интимный круг, в который принимались посетители последних и о котором Штейнер упомянул уже после закрытия этого интимного круга в своей книге; это второе принятие было в 1914 году, в Швеции; прикосновение к интимным кругам независимо от личного общения со Штейнером питало по-новому мою старую мысль о коммуне эсotericиков: мысль о братстве. Но, выходя к

обществу, состоящему из тысяч членов, я постепенно разглядывал: неправомерное перенесение Символов общины на учреждение "Общества" в фальшивом, ложноболезненном представлении о какой-то "эсотерической общественности", отличающей "Антр. о-во" от других, "светских" обществ.

Этот дурной, невытравленный припах "эсотерики" в обществе и обратно, перенесение общественности в "эсотерику", составляет главный источник крахов антропософского движения на Западе; "общественность", переносимая в "братство", вносит в идею братства государственность; и эта государственность, принятая внутрь, безобразит внутреннюю линию отрывкой традиций, гиератики, "орденства" и тому подобными пережитками; наоборот, идея братства, перенесенная в устав, и совет общества совершенно формальные юридические функции советников облачают в какие-то ритуально понимаемые обряды миссионерства: вместо свободного расключения линий получаются безобразящая свободу склоченность, в результате которой ощущение "бочки", в которую тебя вклепывают; в уставе - "свобода", на кончике языка - философия свободы, а в действительности мироощущения епископский жезл, перед которым салютует в свободном порыве к... рабству.

Так было до 1915 года.

В 1915 году доктор Штейнер нанес удар подобного рода "эсотерической общественности". Но ни один удар Штейнера по обществу 1915 года, ни удар по разбухшей канцелярии общества 1923 года не вытравили "дурного запаха"; сила традиций - невероятна; всегда появляются и добровольные пастыри, и добровольные квартальные; первые тащат в гиератику, вторые - в государственный участок.

11

Пока шел разгляд моей новой сперва "общественной", а потом и "общинной" линии, углублялся отход от прежних друзей; в 1913 году мне пришлось уйти из "Мусагета" (формально я в нем еще числился); необходимость ухода - нарушение Метнером "конституции" между мусagetцами-антропософами и мусagetцами-антиантропософами; она заключалась в следующем: нам, антропософам, в "Мусагете" надевали цензурный намордник, чтобы мы писали в журнале о "светских", а не "духовных" вещах; со своей стороны: обещались в редакции открыто не подсиживать антропософию; мы - согласились, несмотря на карикатурность этого договора. И несмотря на это, за нашей спиной напечатали брошюру Эллиса против Штейнера.

Ответ - выход антропософов из "Мусагета"; для меня этот выход означал: вынужденный уход от всякой литературной работы; не ушел от нее, но - меня "ушли" вопреки всем усилиям моим сохранить "светскость", что я и доказывал до сих пор своими работами; хотя бы "Петербургом", вторая половина которого писалась в 1913 году, а последняя глава уже после ухода из "Мусагета".

Как я был свободен от пропаганды антропософских "догматов", а должен был нести бремя обвинения в ней, так же я был свободен от внесения "богемного" отношения к проблемам духа; а между тем: русские антропософы на Западе весьма часто подозревали во мне этот стиль кондачка; "Андрей Белый" - ужасно мешал им; и на какие жертвы ни шел "Белый", чтобы доказать свою скромную непритязательность, - ему не верили.

Не понимаю психологии иных русских антропософов на Западе; средний их уровень - выше немецкого общества; и тем не менее: фальшивое сентиментальное, подчеркнутое желание "прибедниться", убавить свой рост и ходить на карачках перед стоящими на цыпочках немецкими "докторами", не оценивающими сих "опрощений", - оно мне было чуждо? опрощенчество в сторону немецкой грубости и "антропософская спесь" в сторону России и русских, - вызывали мое тайное, а иногда явное возмущение, сходявшее за "бунт", так что я стал таить этот свой "бунт"; он учитывался как бунт против самой антропософии; так водворилось между мною и многими из русских "дорнахцев"

атмосфера неискренности под флагом моего умолчания и меня *"потрепательства по плечу"*; во многом иные из этих русских выглядели для меня не *"смирennemудрыми посвященцами"*, а... декадентствующими стилизаторами (сказывалась их бывшая принадлежность к упадочным слоям русского буржуазного общества, зараженного эстетизмом и декадентским снобизмом); эти люди действительно старались уверить и себя и других, что у русских ничего, кроме туманно-отдаленного будущего, нет, и жили *"эмбрионами"* этого будущего, стилизуя себя под *"групповую душу"* с неродившимся "я"; помня иных из нас в их былой сверх-нищеванской и мистико-анархической фазе, мне столь враждебной, я видел в Дорнахе приближение этой фазы под мимику *"покорной ученицы"* средне-немецкому антропософу-мещанину с минимальным уровнем культуры подставлялись стилизованные, горе воздетые *"очи"* склоненной под ним опроценки, а к русскому писателю, желающему *по правде* разобраться в клубках бытовых противоречий, это *"око"* представлялось с иным выражением: подозрительной неприязни и ничем не допустимой спеси.

Живя внутренне богатою жизнью в те годы, я должен сказать, что внешним образом я должен был жить по-волчьи, ибо я жил... в обществе тупиц и в соседстве с волками. Мой волчий вой переходил подчас просто в вой или, лучше сказать, - в громкий плач: одинокого среди тех, кого ты обязан называть *"ближайшими"*: по крови и по узам личной жизни.

С 1912 года уже начался процесс моего тайного осознания ненормальности *"быта"* общества: сперва по фактам карикатурности своего положения; потом по фактам карикатурности других в этом *"быте"*, пока не обнаружилась бессмыслица смешения всеми нами двух линий в одну (*"государственности"* и *"духовной свободы"* в микстуре *"общества"*); общество не было *символом* новой культуры, а - *синтезом*, и только *синтезом*, обреченным, как всякий синтез, быть колоссом на глиняных ногах.

И наконец, после 1923 года мне стало ясным: антропософия *"минус"* общество равна возможности роста ассоциации духовно-свободных людей; в их усилиях к... грядущему *"братству"* и на физическом плане; антропософия *"плюс"* общество - равны одинаково для всех бессмысленному несению тяжелого... не хочу сказать "креста" (зачем унижать символ), а... надгробного камня, долженствующего раздавить несущих.

С 1912 до 1921 года я прошел все стадии к сперва углублению в себе фикций об *"эсотерической общественности"*, а потом и снятия их с себя: в 1913 году я, пережив имажинацию храмового строительства душ, увидел в *камне* основания *"Иоаннова здания"* (здания любви) новый камень души, на котором написано новое имя (смотри *"Апокалипсис"*); и, притянутый этою преждевременною символической, явился в Дорнах работать над воздвижением *"храма души"*; *служил в "подканцеляристах"*, был резчиком и *"вахтером Бугаевым"*; в последней роли удостоился признания (единственного, как кажется); я думал, что сторожу камень основания новой культуры, а действительность, подменив *"Иоанново здание"* в тяжеловесие *"Гетеанаума"*, самый камень души уплотнила в *"камень просто"*; и этот *"камень"*, взваленный на плечо, едва меня не похоронил.

Стадия перерождения моего *"темплиерства"* в грубое *"вахтерство"*, окончившееся внутренним отказом от него, происходила в Дорнахе в трудную зиму 1914 - 1916 годов; и по мере того, как утонченность подхода к делу служения культуре *"Гетеанаума"* огрубевала в роптание *"вахтера"* на свою пустую повинность (охранять то, что подвержено гибели), линии моего лика для иных из антропософских друзей естественно перерождались: исчезал парсифализированный *"сверх-идиот"* и его тень, *"темная личность"*; и выяснялся мозолистый *"вахтер"* Бугаев, принятый честно другими *"вахтерами"*, товарищами по работе, честными ребятами, каких, слава Богу, встретишь в любой артели; этим кругом и замкнулся дорнахский быт.

Но когда уехавший *"вахтер"* в России был встречен *"писателем"*, то уже, разумеется, *"вахтер"* не мог вернуться в братские объятия общества, ибо он все же был больше *"Андреем Белым"*, чем *"вахтером"* среди возможных модификаций индивидуума *"Я"*.

"Вахтер" был нужен писателю "Белому"; а "писатель" - кому из дорнахцев был он нужен?

Этим определилась фаза моей антропософии в эпоху от 1916 до 1921 года.

Да, забыл сказать: вне *"вахтерских"*, всем видных в Дорнахе обязанностей я выполнил одну обязанность, никому в Дорнахе не ставшую известной, ибо *"вахтеры"* книг не пишут: я написал объемистую книгу *"Рудольф Штейнер и Гете"*, в которой разбил нападение Метнера на доктора Штейнера; и в отражении нападения попутно поставил знак равенства между былою статикой *"Эмблематики"* и ею же, взятой в диалектической динамике Штейнера; высоким удовлетворением мне служит одобрение моей мысли со стороны Штейнера, которому я устно пространно излагал позицию книги и который лично ознакомился с несколькими главами работы; ему их дословно переводили; две фразы меня успокаивают, когда я вспоминаю возражение на эту книгу со стороны руководителей Петербургского кружка антропософов: *"Ваша световая теория хороша"*; *"Вы написали прекрасную книгу"*.

В этих фразах - награда мне за усилия: понять былою линию мысли в фазах линии мыслей, посещавших в Дорнахе, где эта линия прошла, разумеется, катакомбно, так, как имел ее *"вахтер"*, а *"вахтеры"* - не мыслят; когда уже гораздо позднее на эти темы написал Штейн, общество толковало на тему книги Штейна. Когда писал *"вахтер"*, то линия его мыслей не могла обнаружить себя никак: также не могли обнаружить себя и линии мыслей *до* и *после* написания "окультурной" книги - *"окультурной"* не потому, что она трактует "окультизм", а *"окультурной"* потому, что ее написал *"вахтер"*.

12

Мои раздумья о задачах антропософского общества вынашивались в годах - за пределами литературных кругов русского общества; мир для меня, многомерный и сложный, виделся этими кругами двухмерною плоскостью, в которую вплющившись русский писатель стал... *тенью*; иногда из теневой плоскости впоследствии выпадали книги или раздавался голос "живого" лектора; с книгами и с голосом считались, а они принадлежали... тени. Объяснение было найдено: похоронив *"Белого"* в антропософии в 1912 году, открыли в 1916 году: "Какой же Белый антропософ?". Между тем правильный анализ книг Белого должен был бы обнаружить: весь *"Петербург"* пронизан антропософией, и как раз в ударных *"психологических"* местах, придававших роману удельный вес; относительно *"Котика Летаева"* Гершензон писал, что эта повесть вскрывает *"недра"*. Какие же Недра памяти, видоизмененной антропософской культурой; и *"Котик"* писался как итог, результирующий опыта антропософа; *"Москва"* поздней подымала идею кармы и проблему отношения низшего "я" к "я" собственно. Самое любопытное, что антропософией навеянные темы не встречали отклика среди антропософов; перевод *"Петербурга"* на немецкий язык ужаснул немецких друзей; а перевод *"Кризиса мысли"* наткнулся на поголовное непонимание может быть, оттого, что писал - *"вахтер"* Бугаев). Так было с *"художеством"*.

И так случилось с выработкой конкретного антропософского *сгедо*; за антропософской защитой Штейнера, Штейнером санкционированной, не увидели базы *"символизма"*; и оттого ничего не увидели. Так тема, пригнавшая меня к антропософии, не нашла себе приюта в *"Обществе"*; и она же впоследствии находила приют не у антропософов, а у просто ценителей литературной деятельности Белого. Сопоставивши этот факт с фактом, что главные антропософские *"доктора"*, в круге которых я прожил четыре года, не удостоили *ни разу* меня хотя бы пятиминутным разговором всерьез, зная, что я писатель и что я волнуюсь темой общества, горя желанием быть хоть чем-нибудь полезным. Мне и нашли точку приложения сил - ночную вахту при *"Гетеануме"*. Факт необъяснимый и, говоря откровенно, недопустимый, - тем более, что за период 4 лет моего сидения под *"докторами"* доктора кричали с восторгом, что к антропософии примкнули такие

знаменитости, как французский писатель Леви и как немецкий писатель Дейнхарт (кто, признайтесь, знает, кроме антропософов сих *"знаменитостей"*).

Если бы не внимание ко мне Штейнера, Бауэра, жены Моргенштерна, графа Лерхенвельда, покойного Т. Г. Трапезникова, строителя *"Гетеанума"* Энглерта, доктора Геша, тонкой и умной Поольман-Мой, то мне нечем было бы помянуть четыре года сидения в недрах западного Общества в смысле идейно-морального общения; но и среди этих умных, тонких, образованных антропософов мои др. Геш и Энглерт, взбунтовавшись, ушли из общества; они были объявлены изменниками; не одобряю я их, но лишь *констатирую*. Должен сказать: бывали минуты, когда я не столько задавливал свой *"бунт"* против среды из сознания своей неправоты, сколько из чувства: не дать повода антропософским мещанам воскликнуть: "Вы видите: он идет против антропософии и Штейнера". Пересидеть *"провокацию"* среды, не отдаться ей - не эти спортивные задания смыкали мой рот в молчанье, а горячая любовь и понимание трагедии Штейнера, несшего крест общения с *таким* средним уровнем и все большее осознание антропософского импульса как... своего.

Все это, вместе взятое, и заостряло мои думы о корне зла с обществом; и этот корень все более мне становился виден: *смешение* принципов общественной жизни с ритмами жизни коммунальной без подлинной революции всех представлений об обществе как таковом.

Искомая антропософская община не имеет, да и не может в данных условиях иметь формы выявления на физическом плане; и все усилия ее сделать - перенесение против *"рожна"*; только во внутренней школе, в пути посвящения в жизнь, создаются условия для искомой социальности; но такая *"школа"* не может ни в одном пункте пересекаться с *"А. о."*; факт внутренней школы внутри скобок общества, *всякого*, а не только *"А. о."*; в корне деформирует все виды таких *"школ"*; внутренняя школа - одна; ее члены - имеющие *"посвящение"* в ритм Духа Жизни, а он *"дышит, где хочет"*; т.е. он не может иметь частных дверей; всякое общество есть общее частного, или оно - *"целое"*, постулируемое частью; оно не тотально, а парциально; прикреплять *"окультурную школу"* к *"А. о."* все равно что прикреплять самосознающее "я" к мозговой клетке; такое прикрепление мгновенно материализует *"камень души"* в *"камень"* просто, подаваемый вместо хлеба жизни; Рудольф Штейнер неспроста отрицает *"школы"* от традиции, как бы они ни называли себя: орденами, братствами; в таковом смысле они *"тайные общества"*, т.е. только *"общества"*, взятые в фазе их исторического склероза.

Новая культура несовместима с традицией *"орденства"*; и антропософы сознают это (хотя бы на кончике языка); как же они не осознали, что *"община"* общества или даже *"школа"* внутри общества (такого, а не иного) есть *нонсенс*, неспроста Штейнер в 1914 году некогда бывшие организации подобного рода пресек; они-то порождали худший вид общества в плохом самом по себе обществе, ибо общество, как таковое, всегда - *плохое общество*: так называемая *"эсотерическая общественность"*, накопившая запас миазмов от 1904 года до 1915 года внутри коллектива, сгруппированного вокруг Штейнера, была им разоблачена в 1915 году, в Дорнахе. Надо было лишь сделать вывод: данные разоблачения имеют место не только относительно искажения основ подлинного *"эсотеризма"* и *"братства"* в данном случае, а во всяком случае, когда внутри общества слагаются ритмы *"общины"* и общество, внутри которого растет ритм, этот ритм монополизирует себе, вместо того чтобы отдать его миру, а себя увидеть умирающим в земле зерном, восстающим под небо - сперва колосом, потом кучкой колосьев, потом - бескрайнею нивою; неужели для ветром зыблемой нивы нужен штамп, что эта нива произошла от зерна, лежавшего в амбаре Сидора Карпова.

После смерти Рудольфа Штейнера *"А. о."*, собравшее тысячи членов разноустремленных бытов, классов, культур, *"обществ"*, не может не стать на распутье: один путь - общество обобществляет антропософию; это значит: создается пустой синтез, ведущий к абстрактной догме; и - к традиции догмы; другой путь - разбитие каркаса

"единства", разрыв "А. о." в энном роде "обществ", с одной стороны, высасывающих из целого антропософии для себя элементы ее и, с другой стороны, всасываемых в антропософии чуждые культуры; антропософия в "антропософиях" католицизируется, протестантизируется, снобизируется; она может стать чем угодно: и новой мелопластической школой с учреждениями, здесь растущими и антрофирующими, например, столь неантрофируемую теорию знания; она может стать "Обществом новых идей в химии" и т.д. В тех и других ориентациях на периферию (культурного доминиона) ее центр обречен стать пустою схоластикой, гетерогенно привлекаемой к доминиону, им влачимой, как атавистический хвостик; судьба такого хвостика - утратиться.

Антропософия в "антропософиях" - "христианство" в друг друга грызущих сектах.

Такова она в судьбе "общества", и только "общества", если живые индивидуумы, проводящие импульс новой культуры, вовремя не захотят увидеть, какой яд они приняли под формой "общества", которое в условиях мировой государственности - переполненный лептонами труп; я говорю об "обществе", как таковом: всяком; "эсotericкая общественность" общества антропософов - не противоядие, а - иная форма разложения; и, по-моему, - наиболее тяжелая.

Лучшая форма смерти "А. о." - открытая, честная борьба за понимание антропософского импульса без утопий о каком-то возможном примирении всей противоречивости устремлений ее живых членов; ведь осуществление этих *утопий* возможно в одной только форме: в форме епископского жезла, ведущего к епископату, вынужденного из себя поздней выдавить *папу*; цезаро-папизм есть тип государственности; другой тип - государственный социализм; третьего типа государства - нет: буржуазное государство есть лишь фаза, ведущая к перерождению либо в католицизм, либо в социализм.

В будущей схватке государств расплющится самый импульс антропософии, понятый как "общественность".

Чего не хватает живым членам "А. о." для осознания этой простой истины.

Не хватает подлинного живого понимания конкретного монизма, как плуро-дуо-монизма, ведущего к исканию даже не сюнархии, а к изучению ритмов социальной сюн-ритмии или сюн-эргии (от слова "эргон" или "дело"); но сюн-эргия и есть "сюм-болия", или тот символизм, над которым работала моя мысль; не стою за слово в принципе тройственности (Символ - символизм - символизация), стою за "дух" новой культуры, не связанный с ним; пусть сам Штейнер понимал символ как "только аллегория"; такое понимание - случайность терминологического оформления; но для меня ясно, что при таком оформлении мы будем искать другого слова к *соединению* в целое; и придем к *синтезу*; а судьба гносеологического разбора слова - в его раскрытии как только рассудочного единства. Мой знак "символ" есть лишь знак-предохранитель; и значит он: "не идите путем исхоженным, путем синтезов, ведущих лишь к общим понятиям и общим обществам; эти понятия и эти общества всем моим опытом жизни в коллективах, построенных на синтезах общего, лишь углубило во мне то, из чего я исходил: *синтез* - в *символе*, *синтетизм* - в *символизме*.

Я - символист: даже в антропософии.

Я не могу присоединиться к антропософскому синтетизму, реализму, идеализму или какому иному антропософскому мировоззрению; я верен XXXIII курсу лекций Рудольфа Штейнера, который - не курс, а *ракурс* целого курсов, лекций и пленума книг; как таковой, он - намек, знак, символ, как *по-новому* прочитываема антропософия, чтобы она была легконога и чтобы стало ясным, что и она - *транспарант* к тому, что за ней.

Транспарантность же ее в том, что она есть чистейший символизм и что, не став символистом, нельзя не исказить ее.

Вернувшись в Россию в сентябре 1916 года, я ощутил огромность опыта предшествующих четырех лет и вместе с тем невозможность передать его ни в достижениях, ни в падениях, ни в трезво критическом взгляде на взаимоотношения между антропософией, антропософами в их усилиях сочетать школу, опыт, общину и общество в некое согласное целое; согласное целое виделось *"развалом"*, но *"развал"* этот опять-таки виделся во *здравие*, а не в *упокой*.

Этого всего я не мог объяснить: естественно, что мое объяснение носило критику *"общества"*, как такового; в частности: западноевропейского общества в его конвульсиях перед войною; и в эпоху войны; конвульсии русского буржуазного общества мною были изучены прежде; и *"Петербург"* - знак этого изучения.

Разумеется, что скобки буржуазного общества, держащие наше западное общество извне и разлагающие его перегородками изнутри, стояли картиной весьма отвратительного *"дракончика"*, копошащегося в недрах большого Дракона; и только индивидуальные вспышки необыкновенной силы и яркости несколько уравнивали мою муку при сознании своей связанности с *"дракончиком"*; восходы русской антропософии были еще слишком юны, чтобы я мог морозить их рассказами о *"дракончике"*; я предпочитал говорить о хорошем и молчать о дурном.

Но и такое молчание было-таки... молчанием, которого тяжесть заставляла себя мучительно чувствовать; хотя мои нервы и были забронированы жизнью на Западе, они бы не вынесли, если бы в лице К. Н. Васильевой я не нашел душу, которой бы мог сказать *"все как есть"*; и этим правдивым сказом сказаться действительно.

Своей социальной функцией того времени я считал знакомство людей с подлинной личностью и идеологией Рудольфа Штейнера, как они мне отразились в период жизни при нем; особенно много приходилось уделять времени разоблачению *"легенд"* о Штейнере и антропософии среди врагов последней, все деятели русской культуры, с которыми мне необходимо было и встречаться, и работать в России; в выправлении представлений и в повышении уровня и среди обставших антропософию неантропософов видел я центр своей миссии; меня встречали пристальным разглядом и высказывали удивление, что я жив и даже окреп как художник и идеолог; я эту *"моду"* на себя и старался использовать во *"славу"* антропософии; я даже немного входил в свою роль - терпимого и широко глядящего антропософа, однако, не дающего спуска где нужно; создавалось впечатление, что с *"этим антропософом"* возможно не только общение, но и культурная работа. В таком приблизительно смысле высказывались: Бердяев, Булгаков, Флоренский, кн. Трубецкой, С. М. Соловьев, Карташов, Иванов-Разумник, Блок, Мережковские и ряд других деятелей-неантропософов. Сознавалось: мой идеологический ответ Метнеру аннулирует его нападение на антропософию; и этим признавалось: надо как-то изменить стиль прений, столь недавно еще неприличный на академически-спокойное обсуждение наших согласий и несогласий.

Тактикой повышения *престижа* антропософии во внешнем мире я был занят весьма, укрепляя тональность приемлемости нас в *культуре* (одно время, с легкой руки Метнера, нас просто вышвыривали из культуры).

Эти условия мои в прохождении достойной антропософской походкою иногда вызывали нарекания на меня со стороны некоторых антропософских друзей в том, что я мало уделяю времени внутренней работе кружков, увлекаясь своими отношениями с внешним миром; они не учитывали, что мои усилия разбить вокруг антропософского центра цветник культуры есть своего рода тенденция к антропософскому культпросвету, т.е. большая пропаганда, чем *пропаганда* и вызывание к жизни условий возможности академических встреч с неантропософами, без которых самое расширение антропософии в России пойдет не в должном направлении и в смысле заострения вопросов, и в смысле отбора в антропософию талантливых, стойких, культурных и работоспособных людей; иначе грозило появление *"стада"*; и, стало быть, *"настырей"*; и *"стадо"* и, особенно, *"настырей"* в русском *"А. о."* я не мыслил.

Так моя работа *на стороне* была выражением моей работы *внутри*; иные из друзей понимали меня в моей тактике; многие и тут не понимали, относя мою деятельность лишь к *"вихрю светских легкомыслий"*, желанию лишней раз в прениях почесать язычком; если бы они поняли, что я в четырехлетнем безгласии моего западноевропейского *"вахтерства"* уже сдал экзамен на выдержку, им были бы видней истинные мотивы моего поведения в 1916 - 1917 годах.

Слишком мало отдаваясь работе внутри московской группы антропософов, я скоро стал к ней тянуться всею силой души; она стала родною мне; я видел внутри этой группы и жизнь, и брожение моральной фантазии, и серьезность дум, и правдивость устремлений; были и дефекты в *"общественной"* жизни, вытекающие из закона, что люди, отдельно взятые, интересней и глубже себя же, взятых в сложении *"общества"*; те же противления против 1) социального ритма, 2) проблемы гармонизации коллектива, 3) борьбы с предвзятостью, 4) непонимание многострунности и символизма, без которой ритм мистерии вырождается в *протокол* и *устав*. Но это были мне слишком ведомые и понятные явления; и тем не менее было радостно себя чувствовать в группе честных, здоровых, все же максимально непредвзятых людей, не превращенных в *"послушное стадо"* и не разложенных гангреной *"общественного эсотеризма"*.

Не то впечатление осталось у меня от встречи с *"петербургскою"* группою; всего того, что меня роднило с Москвою, там не было; а с Москвою меня роднил *"живой"* Дорнах, в котором я мыслил себе дом; в Дорнахе же было и много мертвечины, но Москва сумела элиминировать *"мертвый"* Дорнах, связуясь с Дорнахом; Дорнах в Москве, - группа атропософов, живших в Дорнахе; в Петербурге такой группы не было; не было и по-настоящему связей с Западом (ни через *эсотеерику*, ни через быт жизни с Западом); и потому-то, вероятно, эту живую связь заменили культом *"Мекки"*, в которую превратился Дорнах.

И здесь - ставлю точку: плоды петербургской *"эсотерической общественности"* сделались не одним крахом в годах.

Мое положение в России было трудно; надо было найти, так сказать, и внешне-общественную платформу; политически жизнь России достигла крайнего напряжения; политически надо было найти себя.

Революции в России ждал и Штейнер, спросивший меня в первые дни войны, будет ли революция тотчас, я ответил, что - нет; но я знал: революция будет; более того: я ждал краха русской общественности еще с 1911 года; мое отношение к русскому буржуазному обществу было резко отрицательно с 1907 года, а моя невозможность его выносить - мой отъезд из России в 1912 году. Близость всеобщего развала отражена в моих *"Кризисах"*, начатых в Дорнахе; ответ на войну - глубочайшее *"нет"*; не примыкая к активному пораженчеству действительно (я не мог в действии соединиться с *"партиями"*), я сочувствовал ряду лозунгов Циммервальда-Кинталея; к социал-демократии в лице ее вождей относился я сдержанно; иные из этих вождей стояли передо мной (например, Жюль Дэстрэ, с которым был лично знаком); с ведома Штейнера я писал в русской газете, стараясь провести в статьях хоть процент антимиитаризма; после перепечатки одного из моих фельетонов с сочувственными комментариями во *"Франкфурт-Цейтунг"* и этот процент делался нецензурным; уезжая из Дорнаха, я высказал Штейнеру надежду на возможность мне в России вести линию антимиитаризма.

"Вам это не удастся", - сказал он с грустной улыбкой; но если бы я мог вести эту линию, было бы хорошо ее вести; так он полагал; не насилуя нас, лишь предостерегая против партийности, сам он отзывался с сочувствием на антимиитаризм; он ценил брошюру Суханова против войны.

Оставшись чужд партийной политике в России, я тем не менее во всех устремлениях своих был с тогдашними крайними левыми; не одни литературные вкусы и личная дружба соединили меня с Ивановым-Разумником; темы народа, войны и революции были темами

нашего сближения; но в "кадетской" культуре Москвы сидел я с зажатым ртом; лишь среди своих антропософов да среди "скифов" - петербуржцев, я высказывался откровенно.

С 1906 года мне принадлежит ряд рецензий в "Весах" (псевдонимы "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта") с определенным "да" пролетариату и социальной революции; она после ошибок Временного правительства выдвинулась мне роковой неизбежностью с июня 1917 года уже; в этом ожидании взрыва я сходил с Т. Г. Трапезниковым, Петровским (антропософами), М. О. Гершензоном и Ивановым-Разумником; но моя концепция не двух, а трех *революций* (политической, социальной, духовной) ставила меня вне государственного коммунизма и государственной демократии, ставшей вскоре во враждебном к коммунизму лагере; я был за принцип *Советов*, как за рычаг переворота, еще с 1905 года; и в 1917 году я надеялся, что в этом принципе найдет себе развитие и духовный переворот.

Таково было мое настроение и в 1917 - 1918 годах: свободное развитие снизу вверх социально-индивидуальных коммун, отрицание политического ига; на этой платформе я сходил с иными свободными людьми того времени; среди них были и коммунисты.

Происходил небывалый опыт; от нас требовались независимость и духовный ритм текучего понимания трехчленности, связавшейся мне с триадою: Символ - символизм - символизация; сферой "*символа*" мне слышался нас ведущий в грозе и буре ритм времени, взывающий к слуху и к упражнению в слухе; отражением этого слуха мне были и "*Скифы*" Блока, и военный приказ к армии: отступать. Не законодательства я искал, а ритма к чтению законодательств; сферу символизма как теории я видел в лозунгах момента, поднимающихся снизу; декрет как *власть* лозунга выдвинулся мне лишь гребнем пены вставшей волны; и этот лозунг - "*Вся власть Советам*"; советы же - ассоциация лабораториек всяческих опытов строительства жизни (и социальных, и духовных, и социально-духовных); *диктатуру* я принимал лишь в необходимости защищать советизм от ударов извне, а не в необходимости направлять самое содержание советской жизни, сфера которой - многообразие *символизаций*; *власть* видел я лишь в *моменте* советской индукции (снизу вверх); и жаждал раскрытия принципа текучементальной власти, верней, *властей*, поднимаемых и утопляемых, как гребни волн, в недрах стихии живовластных Советов.

Таковы были мои переживания революции.

Когда же мне стало ясным, что средняя часть триады (совет - власть - ритм), или власть-лозунг, перерождается в обычную власть и в этом перерождении становится из власти *Советов* советскую *властью*, стало быть, властью обыною, ибо суть государственной власти не в прилагательных ("*советская*", "*не советская*"), а в существительном, старом, как мир, я был выброшен из политики туда, где и пребывал вечно: в антигосударственность; а *третий фронт* меня и извне прикрепил к месту моего уединения; и нынче я, толстолец-непротивленец, могу лишь высказывать пожелания, чтобы "*советизм*" был гибче понят в органах власти.

14

С 17 до 21 года перед русскими антропософами стояли задачи, не снившиеся антропософам Запада: вопросы о связи культуры России в ее *становлении* с культурой антропософии в ее *становлении*. Никаких *ставших* форм, лишь одно *становление* было нам непосредственно дано; и поставлена задача: становление не утопить в хаосе; но и в боязни хаоса не замкнуться в развитии догмы; такую раковину ведь была для нас, русских, жизнь западного общества даже в ее удачных моментах; и они, так сказать, протекали если не в *раковине* общества, то в *раковине* общеевропейской буржуазной власти; мы же были без раковины: без уже прошлого, но и без ясно видимого будущего, в стихии настоящего, кидającego и туда и сюда и взывающего к мгновенной, всегда индивидуальной ориентации, для которой не могли существовать директивы, лозунги с

Запада, ни директивы и лозунги, кроимые нами по западному образцу, ибо западный образец всегда поднимался с трамплина традиций и прочного быта, хотя бы в моменте их преодоления; а наша действительность с расплавом здесь и развалом его там не могла найти никаких трамплинов в смысле преодоления антропософской косности; трамплин был один: наша косность, косность всех нас как антропософов; и, стало быть: косность антропософии в условиях общества; невидимый Западу склероз "А. о." (невидимый оттого, что подан в другом склерозе) стал видим нам; западная антропософия противопоставляет себя традиции Запада; русской антропософии эпохи 1918 - 1921 годов нечему было себя противопоставлять, ибо она строила себя в условиях расплава и развала извне; поэтому она произвольно могла всасывать в себя окружающее; у ней не было никакого трения с гетерогенным принципом формы, ибо форм жизни в России не было в описываемых годах; были, так сказать, "*минус формы*", или - отрицательные понятия: не еда, не тепло, не быт, не традиция, не здоровье, не предвзятость; и этому "*не*" противопоставлялось огромное "*да*" материала курсов книг Штейнера, данных в западной *форме*; стало быть: переплав этой *формы* в условия русской безбытицы и был лозунгом дней в быте русских антропософов, не желавших отмежеваться от событий жизни в России.

Я бы сказал, что жуть этих задач, жуть ответственности, не могла не кружить головы; и антропософы с закружившейся головой убоялись своей деятельности как антропософов, вынужденных действовать в России; убоялись сказать "*нет*" антропософской *ракушке*, оказавшейся в поле их зрения после вынуждения ее из разваленных жизнью буржуазных форм; этой ракушкой-склерозом, не видимым на Западе, но видимым в России, оказалось само "*антропософское общество*" в его и государственной, и эсotericкой структуре; в расплетении "*эсotericки*" и "*общественной формы*" первая превращалась в сознании в социальный ритм, а вторая в своем разложении выделяла здоровый озон жизни из прочих гниений всяческой государственности; и этот озон - стремление коллектива понять себя в текучей ассоциации, в вольной ассоциации, символ которой *община*, а не общество.

Этого слова-лозунга испугались одни; за него ухватились другие; так выделялись стремления так называемой "*ломаносовской*" группы из "*соловьевской*" в Москве; и я должен сказать, что, и как антропософ, и как член совета и председатель "*Вольно-философской ассоциаций*", всемерно стоял и участвовал в продумывании стиля работ ломаносовской группы как стиля работ общины, ассоциации, *совета* без членов и руководителей; в понятии ассоциации уже утоплена диада (пассивные члены, активные руководители) в триаде (совет как руководители-члены, совет как целое, движимое ритмом: "Где двое и трое во Имя Мое, там Я посреди вас").

В основу ломаносовской группы были положены лозунги: искать загаданной антропософии из контакта и контрапункта "*как достигнуть*" и "*философии свободы*"; искать не в схеме, а в живом опыте непредвзятой индукции (в схеме головной из двух ядов получается только ядовитая смесь, а в действительности контакта - полезная соль); в непредвзятом ожидании живых опытных результатов этого соединения "*эксo*" и "*эсо*" вариаций антропософии я именно чалил от антропософского "*синтетизма*" западноевропейского перерождения антропософии к соединению, к антропософскому *символизму*; во-вторых, был положен лозунг общинной ассоциации вместо механического со-сидения членов в со-членстве, где "*со*" есть не организация живой связи, а порядок нумерации кресел ряда, в котором со-сидят члены (лучше сказать: части их тел, противопоставленные голове); и отсюда уже для меня вытекал лозунг ритмизации многообразия мировоззрительных оттенков, допустимых равно в антропософии; в принципе же общественности фактически эти оттенки все равно возникают, как оттенки "*лож*" (берлинской, мюнхенской, штутгартской и т.д.); но там они зависят от "*гувернеров*" и "*гувернанток*", без которых жизнь западного общества до сих пор не умела протекать; мне же виделась в свободной ассоциации тема многообразия "*гувернеров*", взятая критически, ибо это многообразие - ассоциация в нас свободных усилий: сложиться

в цельность. Далее поднималось задание: сообразно видоизменению принципа "общества" в ритм со-общений изменить и систему строения антропософских кружков в широко и глубоко задуманную "культуру" кружков, в sui generis, "духовную академию" свободного типа, разбитого вокруг антропософии; надо мною смеялись, что я задумываю свой "культпросвет" там, где уже дан "свет" учения Рудольфа Штейнера; так дешево шутил антропософ, не зная, что к этому "культпросвету" взывал Рудольф Штейнер еще с 1915 года в Дорнахе, видя, что "свет" его учения без "культуры" стал из света сперва узким "просветом", а потом и "непросветом" в удушениях средневековой мистики антропософских суеверий, с которыми мы так боролись в Дорнахе и от которых ни "эсотерическая общественность", ни "руководители" не могли избавиться; избавило - закрытие "эсотерической линии" на ряд лет Рудольфом Штейнером. Наконец, мой "культпросвет" таки вырвался в жизнь в антропософии Запада в многообразии своих форм: от ученых институтов до движения молодежи, скорее слагающейся в ассоциации, а не в общество; наконец, ассоциация пастырей христианской общины - что же это, как не вырыв из общества; я считаю, что тенденции "ломаносовской" группы на несколько лет упредили ряд тенденций, вышедших в тяжелом развале общества Запада, как размышления о том, что же с этим "опухшим трупом" делать. Наконец: я считаю важной тенденцией нашей тогдашней группы подчеркивание тем самосознания, критицизма, свободы, моральной фантазии и культуры искусств - тем, с недостаточной силой подчеркнутых в пленуме членом "Общества"; в переложении всей ответственности за судьбы антропософии с руководителей, организаций, органов в "я" членов ассоциации выдвинутые темы получают особую значимость. Мне мечталась такая сознательность в членах группы, при которой уже невозможно сидеть и ждать от руководителей, гарантов, верховных органов директив направляющего решения; единственное направляющее решения - моя индивидуальная совесть, ибо за ошибки Дорнаха, Штутгарта, Москвы, Петербурга ответствен "я", вовремя не поднявший меч на ошибку.

Так одно время виделся мне в нашей группе возможный орган переориентировки быта антропософии в условиях, подаваемых русской действительностью 1918 - 1921 годов; и в переориентировке мне виделась условия возможности нового стиля культурной работы в России для подлинного антропософа; задание его - найти себе подлинное активное место в своей стране; я должен сказать, что с этим заданием русские антропософы справлялись и продолжают справляться; укажу лишь на культурную роль покойного председателя нашей группы Т. Г. Трапезникова, проводившего эту работу в общерусском масштабе, - хотя бы в роли одного из руководителей отдела "Охраны памятников".

Но западные "друзья", привыкшие видеть в культурнейших русских "докторах" только "вахтеров", и тут комически постарались понять работу покойного Трапезникова; передавали серьезно, что в годы голода он служил в сторожах и охранял памятники.

И это не каламбур, а - факт!

Я не стану перечислять своей многообразной работы в России в эту эпоху ("Пролеткульт", "ТЕО" Наркомпроса и т.д.); она строилась в согласии с антропософской совестью; и выявлялась не в пропаганде, догме, а в истинно свободном творчестве; когда вставали препоны ему, я работу бросал.

Ленинградская "Вольно-философская ассоциация" стала одно время и моим личным, и моим индивидуальным (т.е. индивидуально-социальным) делом; я связался и с ее деятелями, и с ее лозунгами, и с ее ширящейся, но организуемой многообразно аудиторией, и с темпом ее работ. В расширении своих "антропософских" представлений я встречал и препоны, и злой подозревающий глаз со стороны иных антропософов; наоборот: иные из неантропософов тут мне оказывали незабываемую, горячую братскую поддержку; не забуду и истинно нехорошего ко мне отношения антропософки Волошиной (1921 - 1923 годы), унижавшейся до распространения обо мне небылиц; не забуду и братского отношения ко мне ставшего мне родным Иванова-Разумника.

В. ф. а. ("Вольно-философская ассоциация") в 1920 - 1921 годах развертывалась в Петербурге в большое культурное дело, могущее вырасти в ассоциацию "*Вольфил*" по всей России; и не ее вина, если механические препоны положили предел ей Ленинградом; в Ленинграде темп ее работ был стремителен, продуктивен, многообразен; 300 публичных собраний за три года жизни - одна эта цифра указывает на размах "*В. ф. а.*"; не упоминаю ее кружков, ее курсов, ее интимных собраний и т.д. В 1922 году она вынужденно сжималась, а в 1924 - вынужденно перестала быть.

В 20 и 21-м годах мне пришлось "5" месяцев. потом "6" месяцев работать в центре "*В. ф. а.*" как председателю и члену совета; организационные задания всецело поглощали меня; и особенно радовало, что "*В. ф. а.*" - не общество, а - *ассоциация* людей, связанных в исканиях новой *культуры* (мысли, общественности, искусства); думаю: если бы западное "*А. о.*" приняло дух ассоциации, разбив каркас "*общества*" и проведя грань между исканием братства и формами государственности, многих бы безобразий в смешении линий "*экзо*" и "*эсо*" - не было б вовсе; и лучше бы поняли идею социальной трехчленности Штейнера, утопленную его учениками; эта-то трехчленность, как ритм устремления, и лежала в основе "*В. ф. а.*"; и закладывалась независимо от идей Штейнера нам, членам совета "*В. ф. а.*", неизвестным в 1919 - 1920 годах; здесь воля, мысль и социальное чувство искали по-новому связаться с понятиями "*свобода*", "*философия*", "*ассоциация людей*"; и самое название "*Вольно-философская ассоциация*" отражало трехчленность; мне же она отражала еще и *мою* трехчленность, где сфера *символизаций* виделась в свободном многообразии обрастающих "*В. ф. а.*" отделов, под-отделов, кружков и в свободном многообразии братски борющихся мировоззрений, ищущих свободно сложиться в культуру их круга; здесь сферой *символизма* являлось мне самое заострение проблемы культуры как *принципа* и культур, в ней лежащих, как модификаций (символизаций); сферой же искомого *символа* мне было самое прочтение принципа культуры как ритма и ритма как выявления человеческого Духа из свободы ("*Дух дышит, где хочет*"). Интимная жизнь деятелей "*В. ф. а.*" в их работе мне вспоминается в лабораторном вынашивании идей-лозунгов, учуянных снизу, в потребностях к нам притекавших масс, которые мы старались понять и приподнять в оформлении дня и минуты как в лозунге, но лозунге - симптома ритма (Символа); в этом смысле мы, члены совета "*В. ф. а.*", не имеющей членов, но массу и "*совет*", и были *властью*, но властью *Советов* или органов, кружков, устремлений, обраставших "*Вольфилу*"; поэтому "*власть совета*" здесь всегда была лишь властью минуты, властью оформленной индукции, снизу питавшей нас; эта *власть* носила чисто символический, ритмизационный характер; она была *властью* постольку, поскольку она угадывала пульсацию вольфильского сердца; поскольку же не угадывала, она мгновенно свергалась, ибо "*совет*" постоянно поднимал вопросы о свержении себя; и в поднятии этого вопроса постоянно получал мандат к власти: выдвигать лозунги; единственная организация, состоявшая из массы и советской четверки, бессменной по власти "*Советов*" массы с председателем, мной, являющимся лишь эмблемой *совета*; и потому - бессменным (опять-таки - не по своей воле).

Новизна ритма работы увлекала меня; и, разумеется, - душой, подлинным ловителем ритма жизни "*В. ф. а.*" был, во-первых, Р. В. Иванов; во-вторых, члены совета; в-третьих, молодежь отделов и подотделов; и, наконец, вся масса публичной аудитории, т.е. *тысячи*.

Разумеется, "*В. ф. а.*" была не на уровне своей великой идеи: быть тотумом, ассоциацией, а не партией, обществом; но "*В. ф. а.*" сознавала это, не выдувая из соломинок мыльных пузырей несуществующей эсотики, интимности, братства; в этой суровой и честной правде складывалась своя интимность: интимность ничем не прикрытого стремления - к правде, какую бы она ни оказалась без фиговых листиков и виньеток, заглавий правды.

Не могло подняться вопроса о том, что "*В. ф. а.*" о правде, а не правда о "*В. ф. а.*". Между тем в западном "*А. о.*" постоянно надо подымать предостерегающие напоминания, что сама "*антропософия*" гласит о правде, а не "*правда*" гласит об антропософии,

понимаемой обществом, т.е. *"советом"* этого О-ва; без таких оговорок могут случаться казусы: правда мира зависит от состояния мозговых клеток очередного председателя, д-ра Унгера, Юли, Стеффена, мадам Штейнер или - кого еще?

До отъезда за границу в 21-м году я работал в *"В. ф. а."*; и в этой работе забывал ужасные тучи сомнений, нависавшие надо мною и над моей личной жизнью:

15

Может быть... здесь мне и ставить точку, потому что нет еще слов к оформлению последнего семилетия?

Постараюсь все же дать не формулу, а лишь импрессию этого периода моих устремлений.

В 21 году я ехал в Дорнах; я нес серию неразрешенных в 1916 году вопросов об *"А. о."*, его людях, его быте, о себе в нем и, во-вторых, 1) серию вопросов об антропософии в России, как поданных действительной жизнью, 2) о себе в этой жизни, 3) и о ряде людей, кружков, организаций, облакавших меня доверием как русского писателя и общественного деятеля; хотя бы антропософу и председателю *"В. ф. а."* есть о чем поделиться с советом *"А. о."*, и как с деятелями *"А. о."*; о своих личных, слишком личных вопросах, как они ни казались важными (хотя бы вопрос о медитациях, моем *"опыте"* и т.д.), я думал не слишком пристально, ибо жить личной жизнью в России я отвыкал; наша личная жизнь чаще всего определялась термином *не*: *не* ели, *не* спали, *не* имели тепла, денег, удовольствий, помещений, здоровья и т.д.; но это *не* было предметом слезливых жалоб, потому что громадное *"да"* осмысленно-духовной жизни с радостью преодолеvalo все эти *"не"*. Не с *"не"*, а с *"да"* (и большим) появился на Западе я; наконец я знал: в разрезе личной жизни на Западе мне предстоит хирургическая операция, к которой с 19 года я был вполне готов; не она *главным образом* волновала; волновала всяческая *"социальность"*; с невероятным усилием два с половиной года я добивался условий отъезда для разрешения своих *"социальных"* тем вопреки личной грусти: оставить друзей, близких, мать, любимую работу в *"В. ф. а."* в Ленинграде и в *"ломоносовской группе"* в Москве.

Что я встретил.

Здесь... пауза.

Мороз продирает по коже при воспоминании битком набитого зала в 3000 человек, куда я попал в первый день приезда в Берлин и где встретился с *"близкими"* некогда мне, и с рядом старых знакомств, и с *"дорнахцами"*, и со Штейнером. Все *"социальное"*, копимое 5-летием, тогда именно рухнуло; началось - *"это"*.

"Это" - ужасающая импрессия; пахнет - странно; сладковато, приторно, ни явно дурно, ни явно хорошо; что это - вонь или парфюмерия? Так спрашивал я себя 21 год назад в бытность студентом-распорядителем концерта, нюхая свои надушенные белые перчатки и вдруг поняв: пахнет трупом (я в этот день работал в анатомическом театре: духи и мыло не вытравили запаха мертвецкой); тогда же, 21 год назад, я понял, что запах чистого трупа куда приятнее запаха надушенного трупа. Волна непреодолимого отвращения поднялась во мне, и я как бы лишился сознания... на два года, инстинктивно протянувшись к спасительному нашатырному спирту, но ошибочно схватив... *винный спирт*.

Тот факт, что многие западные друзья по стародавней привычке встретили во мне *"нашего вахтера"*, наивного *"сверх-глупца"*, лысого *"бэби"*, - не тот факт меня сразил; и не то, что я был в иные дни облеплен бесплатными руководителями, обрадовавшимися случаю, как и 9 лет назад, мне сообщить, что человек состоит из 7 принципов (идя в старую муравьиную кучу; жди старых муравьиных замашек); не удивительная мелкость социальных интересов после России расшибла (в России мы решали вопрос о том, что есть *"общество"* как таковое самую жизнью, являющеюся катастрофой всех обществ, а тут волновались: какой-то *"пасторик"* написал какую-то *"статеечку"* против Штейнера; и

ею потрясались, как... мировым переворотом; не чванство расшибло ("У нас такие-то ораторы", "Я и сам *рэднер*, только что работавший в группе *рэднеров*"); не милые сплетни иных из "*милых*" друзей о том, что я стал большевиком и вступил в сделку с совестью (и это за пятилетнюю работу во "*славу антропософии*" в условиях, от которых лопнула бы не одна "*антропософская знаменитость*" Запада), и не чудовищная душевная черствость некогда близкой души, оправдываемая разве что каталепсией сознания, и не неумение иных *русских* не только антропософски ворочить мозгами, а просто передать лекции Штейнера, мной не слышанные, и не многие другие подобные "*прелести*", мгновенно меня обступившие, меня доконали; между прочим - я мог думать, что мне нарочно устраивали засаду из гадостей вплоть до... невозможности после пяти лет получить свидание с Штейнером, к которому я 2 1/2 года вырывался.

Расплющило "*это*": импрессия припаха (вероятно, под фасадом пышных учреждений и прочих культур в пятилетии моего отсутствия развивались мощные гнилостности); дорогие русские друзья, не требуйте от меня рационального объяснения в том, что - не каприз (от капризов в обморок не падают); вспомните только мою верность антропософии и Рудольфу Штейнеру; она в том, как я вел себя под флагом антропософии в 1916 - 21 годах; она в том, что, вернувшись в Россию в 1928 году, я *молчал как могила*; и лишь через пять лет проверки себя в антропософии в эпоху 1912 - 16 годов; 1916 - 21 годов, 1921 - 23 годов через "*да*" антропософии Штейнеру, - утверждаю решительно: 19 ноября 1921 года со мной случился обморок от *запаха*, мной услышанного; длился - 2 года в Берлине; 2 года в России я медленно выздоравливал от него.

Заговорил же о нем, когда стал здоров.

Думаю: отвратительность его в том, что он - смесь: трупа и духов; то есть в нем - разложение аромата ангельской жизни в трупе буржуазного Запада, если не претензия трупа: притереться ароматом ангельской жизни.

Четыре года в нем разлагался мой социальный импульс; в условиях моего состояния сознания, разумеется, падали все намерения, серии вопросов, свидания; самому Штейнеру, спросившему меня: "Ну, - как дела?", - я мог лишь ответить с гримасой сокращения лицевых мускулов под приятную улыбку: "Трудности с жилищным отделом". Этим и ограничился в 1921 году пять лет лелеемый и нужный мне всячески разговор.

Думаю: "*запах*" - та же "*эсotericкая общественность*".

Далее - мое письмо к мадам Штейнер, пытающееся прилично оформить необходимость мне в этот период стоять вдаль от деятелей "*А. о.*" (*пока!*); но мадам Штейнер, русская немка, в тридцатилетии своего отрыва от русского языка этот язык, вероятно, забыла, потому что она прочла мое письмо как уход от антропософии и Рудольфа Штейнера; к вороху гадостей присоединяя новую для меня и весьма обидную гадость; что я Штейнеру верен, гарантия - моя пятилетняя русская жизнь; в ней я привык быть "*верным*" в деле, а не в доставании себе удостоверительных писем; неужели мадам Штейнер полагала, что я буду бегать за ней вприпрыжку с удостоверительными, меня унижающими карточками: хамом, лакеем, вставшей на задние лапки собачкою, ждущей наград, - я не был; и не собирался сделаться. Такое понимание моего письма - пощечина мне.

Что я никуда не ушел и уходить не собирался, я доказал своим пребыванием в членах, своей отдачей книг в антропософское издательство по просьбе председателя, Юли, и даже своей статьей в "*Ди драй*". А бегать за мадам Штейнер с унижительными уверениями в "*верности*" и "*преданности*" я не мог; да и не был я в состоянии заниматься такими делами: я был болен.

Тогда новая клевета возводится на меня: я-де написал пасквиль на Рудольфа Штейнера "*Доктор Доннер*" (тема романа, изображающего католического иезуита, направленная против традиций церковности); клевете верят!

Как эти люди не понимали, что системой клеветы и требованием стать на задние лапки меня, пришедшего к антропософии из бунта, меня, из порыва любви готового в иные

минуты преклониться и перед "*личностью*" Штейнера, - призыв "*стать на колени*" мог только побудить к восклицанию:

- "Послушайте, а где - хлыст?"

И непроизвольный *хлыст* моей болезни - вино и фокстрот, - думается мне, были реакцией не на личные "*трагедии*", а на "*запах*", имеющий претензию поставить... на колени... меня!

Сперва вызвать обморок, а потом воспользоваться обморочным состоянием человека для сплетения о нем всяких легенд - это уже вонь без аромата или "*эсотерическая общественность*" в стадии "*инквизиции*".

Внешне прибавлю, что в период моего берлинского обморока я еще должен был 1) зарабатывать хлеб, 2) вести журнал, 3) написать три тома "*Начала века*", 4) организовывать отделение "*В. ф. а.*", 5) организовывать "*Дом искусства*". Все это проделывал я в сплошном бреде; все это способствовало не выздоровлению, но - углублению болезни.

Болезнь же - от любви, униженной и растоптанной звериной мордой "*Общества*".

Ни одного ласкового антропософского слова за это время; ни одного просто человеческого порыва со стороны "членов общества"; два года жизни в пустыне, переполненной эмигрантами и вообще довольными лицами антропософских врагов, видящих мое страдание и потирающих руки от радости, что западные антропософы в отношении к "Андрею Белому" поступили... свински; все же это видели без моих жалоб (я не жаловался, а - плясал фокстрот); этого не видели лишь западные друзья; они видели: вернулся "*вахтер*" Бугаев; и - скрылся куда-то.

Если бы не дружеская, ласковая антропософская поддержка из Москвы в лице К. Н. Васильевой, приехавшей в Берлин в 1923 году и разделившей мои истинные думы, мне не вернуться бы... даже к антропософии: антропософия без антропософов... слишком для меня... Прекрасная Дама; увидев Антропософию в человеческом сердечном порыве, я сказал себе: Антропософия... все же... есть.

Я не доехал до... Дорнаха, куда выехал к... Антропософии; Антропософия настигла меня все еще в Берлине, но... из... Москвы.

Перед этим - пожар "*Гетеанума*", который и я строил с символическим жестом: отдачи жизни! Воспринял пожар и трагически, и... симптоматически: *не только трагически*.

Вторую поддержкой, дающей надежду в то время, что я смогу стряхнуть свой паралич, был удар грома по труп общества, или слова Штейнера в 23 году о том, что аппарат этого общества - труп; тогда я, сорвавшись с одра, заткнувши рот, чтобы не услышать "*вони*", бросаюсь в Штутгарт, наперерез тому, что меня механически отделило от Штейнера, и имею свидание-прощание с ним, много мне разрешившее в будущих годах моей кучинской жизни; в нем - заря нового расцвета Антропософии в моей душе, но уже... без... морды "*Общества*", с которым все счета кончены.

Не я их кончал.

Кончила их героическая кончина Рудольфа Штейнера (в день нашего прощания с ним, 30 марта); 30 марта 1923 года я поклонился человеку, давшему мне столько, и зная, что еду в Россию и его не увижу - долго; 30 марта 1925 года его не стало; мое "*долго*" стало дольше, чем я думал.

Смерть - здесь; победа - там. Но не "*Обществу*" гордиться победою; ему лучше следует вникнуть в причину смерти; ведь эта смерть совпадает с жертвенным вступлением Рудольфа Штейнера... в недра общества: Рудольф Штейнер вступал в "*Общество*", как в свой физический гроб.

16

До чего символична жизнь!

В 1915 году в Дорнахе я видел во сне пожар "*Гетеанума*"; самое неприятное в этом сне: пожар был - *не без меня*; несколько позднее передавалось в обществе, будто доктор сказал, что "*Гетеанум*", постояв лет 70, сгорит; не знаю, насколько "*рассказни*" соответствовали действительности; в 1922 году (весной, летом, осенью), размышляя об ужасе, стрясшимся надо мною, ловил я на мысли себя: "*Гетеанум*", ставший кумиром, раздавил души многих строителей; угрожающе срывалось с души: "Не сотвори себе кумира". И опять проносился в душе пожар "*Гетеанума*"; и душа как бы говорила: "Если б этой жертвою вернулся к нам Дух жизни, то..." Далее я не мыслил. А 31 декабря 1922 года он загорелся; и горел 1 января 1923 года. *Таки сгорел!*

В минуты пожара я был в Сарове (под Берлином) у Горького; мы сидели в бумажных колпаках (немецкий обычай) и благодушно беседовали; комната была увешана цветною бумагой; вдруг - все вспыхнуло: огонь объял комнату; бумага, сгорев, не подожгла ничего; странно-веселый вспых соответствовал какому-то душевному вспыху; мелькнуло какое-то будущее (в то время "*Гетеанум*" пылал); я вернулся 3 января в Берлин; и там узнал о пожаре.

С "*Гетеанумом*" сгорел принцип "*эсотерической общественности*", общество было трупом; мне было ясно: Штейнер - нужен; антропософия - нужна; "*Общество*" - нет.

И как знак этой моей мысли мне было узвание о закрытии властью "*Русского Антропософского о-ва*"; стало и грустно, и... радостно; в России "*А. о.*" *не должно быть*; судьбы антропософии здесь - иные; антропософия должна оросить людей, как влага сухую почву; и не остаться на поверхности, как "*Общество*", или кличка, или даже, может быть, слово; питающая землю влага не видна на поверхности земли: она - сама сырая земля; земля, орошенная, произрастает: зеленью и цветами.

Антропософия в России, или новая культура жизни (тогда зачем бляха с аляповатым штампом "*антропософ*"), или - ничто. Хорошо, что нет в России ни членов, ни "*Общества*".

Немного осталось сказать: отмечу несколько фактов.

Уезжая из России в 1921 году (в октябре), я стал предметом "*фетирований*", меня озадачивших; для "*фетирования*" не было никаких предлогов: ни юбилея, ни - какого-либо поступка моего; поскольку в проводах меня выражалась сердечность и доброе отношение ко мне, я был глубоко тронут; меня провожали речами на публичном собрании "*В. ф. а.*", где дрогнуло сердце от слов какого-то мне не известного юноши ("*вольфильца*"): "Белый, когда вам станет страшно на Западе, вспомните, что мы, в России, всегда с вами, вас любим; и вам станет легче". Слова юноши оказались пророческими; через 2 месяца панический ужас стал охватывать меня; и я вспоминал слова, что меня *дома* любят; в Берлине - никто меня не любил: ни антропософы, ни эмигранты; злословили о моих несчастьях, радовались, что западные антропософы - свиньи, а Андрей Белый, хи-хи, - интересно! Но и этот интерес был непродолжителен; скоро я стал просто "*бывшим*".

Меня провожал и тесный кружок "*Вольфилы*"; в Москве мне устроили в "*Союзе писателей*" форменный юбилей с профессорскими речами о моих "*крупных*" заслугах; устроили собрание (интимное) от организаций, в которых я работал в Москве; хорошие, теплые слова я услышал и от пролетарских писателей.

Я и не подозревал, что в этом импровизированном юбилее были похороны, потому что в день 25-летия со дня выхода первой книги (в 27-м году) несколько друзей боялись собраться, чтобы собрание не носило оттенка общественного, ибо в месте "*общественность*" и "*Андрей Белый*" стоял только безвестный могильный крест. Я вернулся в свою "*могилу*" в 1923 году, в октябре: в "*могилу*", в которую меня уложил Троцкий, за ним последователи Троцкого, за ними все критики и все "*истинно живые*" писатели; даже "*фетировавшие*" меня в 1921 году странно обходили меня, опустив глаза; "*крупные*" заслуги мои оказались настолько препятствием к общению со мною, что самое

появление мое в общественных местах напоминало скандал, ибо *"трупы"* не появляются, но гниют.

Я был *"живой труп"*; *"В. ф. а."* - закрыта; *"А. о."* - закрыто; журналы - закрыты для меня; издательства закрыты для меня; был момент, когда мелькнула странная картина меня, стоящего на Арбате...с протянутой рукою: "Подайте бывшему писателю".

Так - не случилось.

Весь сыр-бор оттого, что я - *"антропософ"*.

И тут вспомнилась мне другая картина - в Берлине, когда *"русский писатель, имеющий крупные заслуги, по уверению некоторых русских критиков, но приемлющий революцию"* - оглядывался с таким точно выражением, с каким оглядывался *"антропософ"* в *"С. С. С. Р."*.

Но как я молчал на Западе о специальных трудностях быть *"русским антропософом"* в России, так же молчал я теперь перед бывшими членами русского *"А. о."* о подлинных причинах моего обморока на Западе; молчал до 1928 года, до этого моего *"взгляда и нечто"*.

В этом *молчании* сказался мне исконно ведомый лейтмотив моей судьбы.

Уйдя из Москвы, я два года просидел на замоскворецком заводе, служившем мне скорее одром болезни, которую медленно я преодолевал; а с 25 года переселился в Кучино, место всяческого выздоровления: оздоровления физического, морального, душевно-духовного, оздоровления интересов и чтения; помимо других работ здесь я набросал черновой эскиз недоработанной книги *"История становления самопознающей души"* (я его доработаю, когда жизнь позволит); эта книга - студенческий семинарий над несколькими мыслями Рудольфа Штейнера, взятыми в разрезе моей мысли, куда мысли о *символизме*, конечно, вошли; здесь, в Кучине, я записывал сырье моих воспоминаний о личности покойного Рудольфа Штейнера (жизнь не позволяет их доработать); но ни в книге, ни в *"воспоминаниях"* нет следа о лично перенесенном мной в *"Обществе"*.

Лишь после слов любви к Штейнеру и глав о том, что я не переставал быть антропософом, я позволил себе закрепить и эти воспоминания, исходя из мысли, что говорить о свете там, где есть и тень, - все же: ложь; и говорить восторженно о других, постоянно преумалая себя, может быть, полезно как упражнение в смирении, но не всегда полезно для *правды*.

Почему до этих заметок я молчал о многом?

Я хотел, чтобы в годах молчания отстоялась *правда*, отделяясь как от субъективного, слишком субъективного, так и от объективного, слишком объективного; мое слишком субъективное - крик от боли: и оттого - стиснуты зубы; мое слишком объективное - впадение в трафарет антропософского благополучия в разговорах о западном обществе и об антропософах из боязни, что острая боль вырвет слишком жаркие, головокружительные слова.

Надо говорить *правду*, прослеживая ее в ее индивидуальном восстании (ни *"объективно"*, ни *"субъективно"*), а это - трудно; этого не умею я еще и сейчас.

Но я учусь этому.

Еще замечания о себе, слишком себе, в эпоху моей жизни среди друзей в 1923 - 1925 годах.

В эти годы я отчаянно взвинчивал себя на стиль бодрости с другими, не ощущая в себе этой бодрости; я не хотел своими *"горящими"* гасить свет в других; и так уже слишком часто мы - *"гасильники"*; и наконец: чаще всего встречаешься ни с абсолютно чужими, ни с абсолютно *"своими"* (с теми и с другими легче); встречаешься со средними, держась в среднем; а это среднее - самое ужасное, произвольное *"мимикри"*; мое среднее указанных лет - ужасно форсированная бодрость от ужасной выкачанности сил; ведь антропософский зажим рта о себе - длинная вереница лет при отчаянной всяческой работе, в круг которой годы входило задание: бодрить других.

В 1923 - 1925 годах мне было душно не раз - именно с теми из антропософов, с которыми у меня - "*средние*" отношения; да и кроме того: иные из "*средних*" друзей оказывают мне странное, порой тяготящее меня внимание, рассматривая "*Бориса Николаевича*" как аппарат, выкидывающий слова, книги, лекции, курсы... в пустоту молчания, между тем как "*Борис Николаевич*", идя к людям, ищет не аудитории, а сердечной, конкретной, социальной связи и, не видя в ответ на биение своего сердца никакого биения, уже механически начинает сотрясением воздуха (прямо скажу, - из "*отчаяния*") наполнять вокруг него растущую пустоту с этим его постоянно удручающим "*ни да, ни нет*" - на мысли, чувства, волнения.

Я ушел в Кучино прочистить свою душу, заштампованную, как паспортная книжка, проездными визами всех коллективов, с которыми я работал; каждая виза - штамп той или иной горечи, того или иного непонимания.

Трудно работать из непонимания в непонимание; непонимание росло во мне: непониманием других меня; но в этом непонимании медленно вызрело мое понимание "*Общества*" как такового (всякого!); оно и есть - "*непонимание*" само; оно - до такой степени мне стало понятным в своей непонятности, что я вижу: люди, живущие, главным образом, "*общественной жизнью*", часто самое непонимание себя и других возводят в канон этого непонимания; в них уже нет не только представлений о том, что есть подлинный социальный ритм, но и нет подозрений, что "*нечто такое*" может существовать в мире; и - потому: они проваливают всякую возможность социальной "*мистерии*", если они волят ее; они проваливают самый социальный вопрос, строя пародию на него в "*общем обществе*"; в нем же проваливают свои мысли, чувства и импульсы.

Все фальшиво, насквозь фальшиво - там, где начинает действовать принцип "*общества*"; потому что принцип "*общих*" понятий, которые "*частны*" в их методологической структуре, т.е. *партийны*; *партийный человек* есть дробь человека, иль - *антропид*, аптекарский фабрикат из разных вытяжек человека (мозгового фосфора, семянных желез и т.д.).

Только в раскрепощающем ритме, в вольном ветре освобождения, в робком намеке - "*ассоциация*" - встает недостигнутый горизонт новой "*общинной*" жизни, которого в "*обществе*" нет и быть не может.

Слово "*община*" беру я как знак, символ, а не в его корневом и ужасном смысле ("*общ.*"); "*общее*" в живой социальной организации, никому не принадлежа, - бежит, струится, сливается, и вновь разбивается, ни мгновения не оставаясь равным себе; "*общее*" моей общины - никогда не "*общее*", но социал-индивидуально; так о нем говорят символы апостола Павла, эмблемы Штейнера, знаки высших математических дисциплин: язык математики, теории знания, искусства, символов религии, биение подлинного социального ритма никогда не говорят о таком "*общем*", которое появляется, искажая эмблемы, как скоро начинает действовать в нас наш склероз: склероз "*общественности*" с его звездой - Государством.

Сколько раз это было сказано; но все сказанное "*обществом*" распято: во веки веков.

Даже я, относительно свободный, упал в обморок, когда увидел, до какой степени я жил в "*обществе*".

"*Храм*" этого общества был сожжен в моей душе приблизительно в эпоху пожара "Гетеанума"; железобетонная мемория стоит на этом месте: "Memento mori!" А знак "*Гетеанума*" я приподнял над душой моей в октябре 1913 года после курса Штейнера "Пятое Евангелие". Храм души моей стоял на норвежских высотах; и увиделся ясно в местах перевала горного хребта, у ледников, откуда впоследствии взят камень для куполов сгоревшего храма; даже так взятый *камень* не смог быть куполом, потому что камень - подножие, и нельзя себя под ним хоронить; купол один - небо.

А я...

Я - пошел в Дорнах: себя завалить камнем; камень склепа, или молчание моих лет о том, что угнетало меня (1916 - 1921 годов), все равно стал криком, но... криком "бунта"; и... камень упал.

В 1913 году я известил письмом Штейнера о принятом решении; и о новом решении моем 1921 года Штейнер был извещен письмом; он - молчал: и в 1913 году, и в 1921 году; об *"этом"* мы не говорили; но мы оба знали об *"этом"*.

Мы говорили много: до, во время и после (уже в 1923 году); стало быть, не вопрос о камне был главный вопрос; не он соединил меня с Доктором.

Запах духов, смешанный с разложением, - ложный *"донкихотизм"*, крест и терн, но без роз и зорь Духа; я видел в других, принявших путь, ужасное перерождение в них так повеленной жертвы; жертва - была не принята; и эти другие (я - знаю их) душевно окаменели: от так понятой *их* жертвы; она была - в пустоту. Жертва была - представлением о жертве в неправильной медитации; и отсюда - рост сырого подполья: запах плесени, черви, - механизация коллектива, или - установка гигантской душечерпательной машины, проводящей душевную жизнь в *"общий"*, но от всего закупоренный бак. При этой неправильной системе себя связания с механизмом *"Общества"* менее активные, менее умные, менее горячие не только не рискуют, но даже теплеют *"чуть-чуть"* за счет жарких и умных; а те - разрываются, откуда картина бесплодных бунтов, катастроф, до... героических смертей.

Героически сгорели: София Штинде, Христиан Моргенштерн, и пусто бунтовали: Эллис, Поольман, Энглерт, Геш, Шпренгель, Минцлова, - сколько?

А *"бак"* - молчал; и сияющее благополучие осеняло средних и теплых.

"О, если бы ты был холоден или горяч" (Откровение).

Мой *"запах трупа"* - узвание всей бесплодности моих 9-летних горений в *"Обществе"*; но как, зная *"Общество"*, я мог гореть? Меня подвела иезуитская фальшь: *"эсotericкая общственность!"*

Я отдал жизнь письмом 1913 года; мне подарили - *"вахтера"*; я отдал силы в работе эпохи 1916 - 1921 годов, мне подарили - *"большевика"* и *"предателя"* (клевета о романе *"Доктор Доннер"*); я сказал: "Возьмите всего меня"; мне ответили: "Мало, давай и жену свою". Отдал - сказали: "Иди на все четыре стороны; ты отдал все и больше не нужен нам". О моих медитативных работах раз выразился Штейнер: *"Ваши интуиции совершенно верны"* (*"интуиции"* об ангельских иерархиях, включая... Престолов); и тем не менее я со всеми этими *"интуициями"* шел в герметически закупоренный бак: они были в *"Обществе"* не реальны; реальна в *"Обществе"* была работа *"вахтера"*.

И *"интуиции"* - сгорели: я никогда не вспоминал о них с 1915 года.

Для кого? И для чего?

Громадный купол стоял; новый *"синтез"* готовился; и потому, что он был *"синтезом"*, он не стал *"символом"*. Синтез заговорил многоустыми *"Рэднерами"* в многочисленных городах Германии: и богато, и пышно!

Но - *"Символы не говорят: они молча кивают"*.

Ничто не *"кивнуло"* мне.

"Кивнул" - Рудольф Штейнер.

Но - при чем... *"Общество"*?

Говорю образами и притчами, потому что не все еще печати сняты мной с еще опечатанной мудрости; еще намек - не прогляден; и не все трупные пелены сброшены с выходящего из гроба.

17

Мне не раз говорили: "Неужели вы не могли обойтись без ужасной сцены истязания в вашем последнем романе; она - жестока".

Теперь, когда и роман позади, отвечу на эти слова *правдивым ответом*, который мне до сих пор было стыдно произнести вслух; сцена истязаний профессора - лишь объективизация в образе, вставшем передо мною, того, что сидело во мне, с чем я был соединен; эти *истязания* во мне разыгрывались; мне казалось в Берлине, что меня *истязают*; с переживаниями 1922 года связывались переживания вереницы лет: от детских напраслин, через "*дурачка*", через "*безумца*" стихотворения 1904 года, через "*Затерзали пророка полей*" (из стихотворения 1907 года), через "*обвиненного*" в чем-то Метнером, через "*темную личность*" антропософских сплетен 1915 года, через "*бывшего человека*" 1921 года тянулась, усиливаясь, меня терзающая нота; и в 1922 году воскликнулось: за что терзает *меня*? Я бегал в цоссенских полях, переживая муки, которым не было ни образа, ни названия и которые тщетно силился я угасить в вине; а когда мука стала отделяться от меня, то образ меня самого встал передо мною; и на бумагу полились фразы:

"Висел затемненной своей головою, с запеками крови...; и - мучился немо оскаленный рот. И казалось, что он перманентно давился заглотанной тряпкою, - грязной и пыльной".

Или:

"В диком безумии взгляда - безумия не было; но была - твердость: отчета потребовать: на основании какого закона возникла такая вертушка миров, где... глаза выжигают".

Или:

"Этот взгляд одноокий... подмигивал мимоидущим: "Я знаю, - не можешь за мною идти: я иду по дороге, которой еще не ходили".

Так я себя переживал в Цоссене 1922 года, когда писал книгу стихов. И на вопрос, отчего так жестоко я обошелся с профессором, я ответил бы: "*Отчего так жестоко со мной обошлась жизнь?*"

Вскоре я стал плясать фокстрот: невропатолог мне прописал максимум движений, а учительниц... эвритмии... при мне не было: где они были со своей "хейль-эвритри"? Спасибо и ритмии: движения рук и ног помогли.

Невропатолог был прав.

18

Тот мировоззрительный строй, который искал я некогда уплотнить и в *систему*, не имел ничего общего с обычным пониманием *символизма* 1) у русской публики, понимающей под символизмом ей самой неясный "*модернизм*", 2) у французских символистов, ратовавших за школочку, 3) у ряда мыслителей, подставлявших сюда лишь рационалистический синтетизм, отчего "*гегелианство*" вылуплялось опять и опять со всеми ветхими ошибками, имеющими место.

Эти свои коррективы к неправильному пониманию символизма 1) как мистики, 2) как эмпиризма, 3) как синтетизма, 4) как эмблематизма (рационализма) я всю жизнь выговаривал с достаточной внятностью, натывавшейся на косность укоренившихся привычек понимать в мысли слова, только слова, да еще в их неправильном терминологическом взятии; даже Штейнер в полемике с рационализмом бросался фразами вроде: "Только символ, а не действительность". Помнится: раз после одной из таких фраз я вскричал на всю аудиторию, что я никогда не понимал понятия "*символа*" так и что в России всякий газетчик освоился с истиной, что символ - не аллегория; меня дергали за рукав (разумеется, - русские "*друзья*"), не понимавшие, что этим вскриком, бросаемым Штейнеру, я защищал принцип жизни своей по весьма и весьма веским мотивам; добрая немецкая дама (графиня Калькрейт), сидевшая рядом, сказала "*друзьям*": "Оставьте, это у него от погоды: упал барометр". А мадам Штейнер дней через десять сказала мне: "Вы - не поняли доктора; он говорил о другом символизме". Но *символизм* один; и о нем-то я ратовал... под Штейнером, против Штейнера, разумеется, понимая, что это ратование лишь вопрос терминологии, по-моему, неправильной; в существе дела не было

расхождения между моим *"символом"* и познавательным актом теории знания Штейнера, рождающим впервые действительность; мой *"символ"* и означал: действительность еще не данную, но загаданную в реализации истинного и должного познавательного акта, а не тех схем о нем, в которых для рационализма оканчивается познание; между тем как с их конструкции оно только начинается; отсылаю к великолепным разъяснениям Штейнера в его книге: *"Основные линии теории знания Гете"*. Что действительность нами творится в деятельности творческого познания, а не подается на мировом блюде, было мне прекрасно известно до книг Штейнера; в *"Эмблематике смысла"* эту действительность называю я деятельностью (*"вирклихкайт"* от *"виркен"*). "Тут возвращаемся мы к деятельности, к этому символическому единству...; самый процесс пробуждения от сна... и есть действительность; то, что творит наши сны, называем мы ценностью; но эта ценность - символ; то, что творится в снах, называем мы действительностями" (*"Эмблематика смысла"*, стр. 71). Доказав сперва, что *"данная"* действительность не действительность, я перехожу к имажинативным действительностям (*"символизациям"* в терминах моих), как все еще сном, но более близким к пробуду, чем сны *"данности"*; здесь - ступенчатость в лестнице совлечения с себя снов: "Каждая новая ступень есть символизация" (там же); "Если мы ниже этой ступени, она - зов... к дальнему, если мы достигли ее, она - действительность; если мы ее превзошли, она кажется мертвой природой" (там же). Так я писал в 1909 году; что переменялось во мне, когда я стал антропософом? Ничто.

Но в *"Эмблематике"* я взываю к высшей действительности, а не к имажинативной только; и эта *"действительность"* в терминах антропософии - стоящие за имажинацией инспирация и интуиция; их-то, не разглядывая по существу, в данном месте *"Эмблематики"* и называю я корнем построения самих действительностей (символизаций); и этот корень - деятельность в разглядах *"Эмблематики"*: "Возвращаясь к деятельности, мы узнаем ту самую действительность, от которой когда-то уплыли" (там же).

Это *"когда-то уплыли"* - значит: когда-то божественность нашего "Я" отделилась от божества; а потом и пала. Моя деятельность - сфера инспиративных и интуитивных миров: "Она сама - живой образ, неразложимый в терминах; но мы мыслим в терминах; и потому-то наши слова о деятельности - только символ" (там же).

И я употребляю слова *"только символ"* до Штейнера: в бытность свою символистом и только символистом; но выражение *"только символ"* вскрыто в конце *"Эмблематики"* перечислением градации символизмов (*"символизаций"*), лежащих в Символе, как знаке абсолютного предела; но сфера та в терминах Штейнера вскроется в конце седьмой вселенной; мы же - в четвертой, где и Символ дан: только в символизациях.

С моей точки зрения, и до-антропософской, и антропософской, само духовное знание - *"только символ"*, или - символизация небольшого отрезка будущего пути нас всех: от Земли к Вулкану; мой вскрик под Штейнером означал методическую поправку - к Штейнеру же; я хотел ею сказать: "Да и вы сами - только о символе в моем смысле; я же под символом никогда не разумел *"общих"* понятий рационализма, в их гетерогенном употреблении в качестве аллегорий". Действительность моего поправочного вскрика относилась 1) к опасностям понимания антропософии вне символизма, 2) к соседям - *"друзьям"*, в эти годы держащим меня в покаянном настроении относительно моего якобы *былого* символизма, грехи которого мне-де надо отмаливать.

Разумеется, никто ничего не понял: ни оскорбленные *"дерзостью"* моего поправочного крика друзья, ни добрая графиня Калькрейт, отнесшая вскрик к барометру, ни мадам Штейнер, поднесшая мне фикцию успокоения (Штейнер-де говорил о *другом символизме*); и, разумеется, сам Штейнер не только не обиделся, но, думается, симпатично отнесся (он хорошо меня знал в *"покрике"*); и он знал, что *"вскрик"* не имеет никакого отношения к коренному расхождению с ним.

Мой вскрик 1915 года имел другое значение: предупреждение, как бы кто-нибудь не вскричал от нажима на него рационализмом антропософии (т.е. вне символизма); и этим

кто-нибудь оказался опять-таки - я: в 1922 году, когда *"перманентно давился заглотанной тряпкой - грязной и пыльной"*.

Эта грязная и пыльная тряпка - антропософский рационализм: тут уж приходится вскрикнуть: "Дайте хотя бы *"только символ"* вместо пылей этой тряпки!

Я, символист, и я, антропософ, - не был двумя "Я", но - "Я"; *"антропософ"* сделал выводы из до-антропософской позиции; повод - XXXIII курс, читая который Штейнер с особой подчеркнутой значительностью глядел на меня как бы жестом своим через головы слушающих мне именно его подавая: я так и принял его - из рук в руки: для вывода; вывод - книга *"Штейнер и Гете"*.

Все это считаю нужным сказать, - вот почему: - в проблеме жизни я изучал градацию социальных и мировоззрительных крахов; не люди проваливались (они были ценнее и лучше собственных *"мировоззрений"*, их облакавших в *рога, бычьи морды* и прочие *маски*); маски надетые - предрассудки; пока они - удел личности, они безобразят личность, а не индивидуальное "Я"; но в социальном сплетении, в обществе, рост предрассудков - невероятен; в нем каждый, отдельно взятый, надетый лишь маской на "Я", вплетает уже весь Индивидуум; общественные коллективы суть коллективы равнения всех предрассудков в единую линию ужасной чудовищности; коллективы, в таком равнении взятые, - кладбище ценностей; оформление из личной платформы становится, так сказать, железнодорожной платформой, поставленной на неизбежные рельсы; а "Я", сидящее посредине платформы, становится пассивно увозимую кладью в места, куда... *"Макар телят не гонял"*. Трагедия людей внутри коллективов: разъезд платформ или разрыв ценных *"индивидуальных"* связей по воле *"платформы"*. "Хотел бы дружить, да... платформа увозит". Или же: не разъезд платформ, а - железнодорожная катастрофа с уже не расхождением, а с ударами друг друга: порой... до смерти.

Разъезд *"платформ"* - неволен; в случае стояния платформ рядом меж ними развивается общественность: в росте химических процессов и с выделением... вони.

На протяжении 30 лет я имел пышный опыт зрелища разложения утопий и коллективов; коллективы менялись, а причины разложения оставались теми же. Напоминаю себе, что действительность разрыва отношений с рядом любимых (и где-то еще любящих) друзей - не действительность охлаждения потенциалов связи от "я" к "я", а - криво растущая и слепо несущая "я" платформа; таковы мои действительные охлаждения: с Мережковскими, Блоком, с С. М. Соловьевым, с Рачинским, с Бердяевым, с Морозовой, с А. А. Тургеневой, с Эллисом, со сколькими еще! Платформа, слепо растущая вопреки индивидуальному "я", протянутому дружески к индивидуальному "Я", перерастала рост отношений от "Я" к "Я"; и - неизбежные: железнодорожный разъезд, железнодорожная катастрофа.

Железность - карма *"общества"*; но "общество" само - карма: дурная карма; и мы изживаем ее в форме теперь уже мирового кризиса. Напоминаю: *"общественное мнение"* назвал раз Штейнер - паразитирующими в нас личинками *"злых"*, т.е. отставших, духовных иерархий.

Одно время хотел я воскликнуть, что волю *"интер-индивидуал"*, если *"интер-социал"* так плох в нас; но *социал* и *индивидуал* - то же самое: он - социал-индивидуал; вся суть в *"интер"*, ужасно понятном; это *"интер"* - между-лежащее: не соединяющее, а мешающее соединению, оно лишь сопологает, нумерирует в дурной бесконечности линейных точек, не слагающих жеста фигуры; оно - синтез (*"схюнтитэми"* - сопологаю), а не *"символ"*.

И тут я возвращаюсь к воспоминанью себя, когда мне было 16 лет и я захотел *"символизма"*; а это значило: захотел социальности, любви соединяющей, любви-мудрости, не любви абстрактной или только... половой. Это-то чувство привело меня в 1897 году к шопенгауэровской проблеме - к освобождению от полового чувства и от пустой, метафизической, социальности: все-объятия, не умеющего обнять - никого. И тут же таимая стесненность, что Соловьевы не понимают меня; так, от первого непонимания к последнему - длинная линия лет: 1897-1928. И усилия мои внести корректив с *"символизмом"*, принимаемые за брюзжание (чего суетится!); и я понимаю людей: то, с

чем я приставал, казалось невесомым; но все весомое движется по линиям невесомых сил; этого конкретно не хотят знать даже "окультисты", поступающие с "окультизмом" так, как если бы он был тысячепудовой гирей; а все - в "чуть-чуть" - черта, отделяющая дела бездарные от дел гениальных (опять истина, принятая на кончике языка, то есть - *не принятая*).

Мой "символизм" и был словами о "чуть-чуть".

Проблему "чуть-чуть" всю жизнь ставил Штейнер: и принципиально, и реально; принципиально: антропософии нет в антропософских "истинах", а только между ними, в мгновенных искрах сочетаний, контекста, фигур; реально: все книги Штейнера полны ретушами оговорок, ведущих к "чуть-чуть" упущениям в прочтении текста; *чуть-чуть*; но отбор текста в каждом из нас по-своему приводил к чуть-чуть упущениям - в упущенье "чуть-чуть"; ретушей, маленьких оговорок, ступающих глубинными шагами, но несущими пожары и взрывы заторов текста; и пожар "Гетеанума" от "чуть-чуть" упущения; и "гигантище" социального заблуждения - гигантская неверность в культурном курсе, отложенном на периферии социальной окружности, - от угловой ошибки намерения в центре, равной какой-нибудь сотой градуса; вот где корень роста предрассудков: не взятое на учет "чуть-чуть", проваливающее гениальный замысел в бездарицу выполнения.

В медном пятаке сжата сила, способная прогнать поезд по экватору четыре раза (междуатомная теплота); и такая же сжатая сила в невытравленном предрассудке; он имеет способность социально выявиться в объеме, равном шару, построенному на линии, равной в длине четырем экваторам, если он равен пятаку по сравнению со всей землей (правдой); и тогда правда земли будет положена в склепище, отделяющее ее от неба; западные антропософы по отношению вот к такому "чуть-чуть" слепы до... артистического совершенства при всей подчас тонкости, подчас умности их рассудочных выложений.

И оттого 99% истин Штейнера минус "чуть-чуть" в их статьях, в их общественности выращивают палеонтологический музей монстров: "истин". Я бы мог приводить их сотнями. Беру лишь пример случайный, для модели: Рудольф Штейнер в молодости боролся с квантитатизмом механической теории тепла - в эпоху, когда она являлась еще господствующей в общей физике (девяностые годы); и след этой борьбы, прекрасный, лежит в работах над методикой Гете в тезисе: *квантитас минус квалитас - примысл, а не действительность*; правильно! Но: с той поры прошло сорок лет; господствовавшая теория сдана в архив; 30 лет физика преодолевала ее вместе... с доктором Штейнером; квантитативный атом стал фикцией; такого *атома* нет; нет связи *атомизма* с механизмом; и эта мысль стала рядовой мыслью у ученых вроде Пуанкаре, еще много лет назад разоблачавшего ошибки механического атомизма, ибо атом и во время Пуанкаре, и после него становился комплексом качеств, соединенных с количествами в своеобразном качественно-количественном образе-модели, скорей имажинации, чем понятия, но имажинации, проверяющей опыт и предсказывающей явления; от моделей Томсона и Резерфорда к модели Бора развивалась эта имажинация, по существу символическая, на что указывает узаконение слова *модель*, переживаемая образом вселенной.

Против эмблемы "качественная количественность" (т.е. не механическая) не протестовал Штейнер: в ней растворялся квантитатизм с его поздней фазой (теорией кванта физика Планка, которого так ценил Штейнер). А вот доктор Колиско в чуть ли не талантливой статье (талантливой без "чуть-чуть"), с видимой убедительностью расстрелявши квантитатизм, предлагает на этом основании устранить атом, атомный вес, молекулярный вес и другие предрассудки химии, строя химию, свободную от предрассудков; как может такая химия строиться, раз автор строит ее из наукою упраздненного предрассудка, что "атомизм" и "механика" спаяны, что Атом - дедукция механических основоположений; предрассудок этот - вопреки реальности данных и новой химии, и новой физики, о которых просто преступно молчит Колиско (ему невыгодно

упомануть новейшие работы и выгодно кричать о преодоленной теории); разумеется: свободная от гипотез химия Колиско - выявляет громадный предрассудок, в крупном шаге назад всей химии, если бы она приняла им не вскрытое, не нужное, только схоластическое понятие: "*вес соединения*"; а он этим открытым "*весом*" дерзает ретушировать тонкую структуру формул, здесь уподобляясь художнику, пишущему малярной кистью, к моему стыду перед химиками: за *антропософию*.

Вникая в природу предрассудка, я ясно вижу: предрассудок - в рассудочной дедукции из тезиса Штейнера, что "*качества нам даны вместе с количествами*"; весь сложный материал цитат Штейнера правильно привлечен Колиско, но без... ретуши, "*чуть-чуть*". Ретушь - всего в одном слове Штейнера: качества и количества вместе даны... в "*восприятии*", а не в условном приеме количественных вычислений; вычисления менять нечего; надо изменить восприятие текста Штейнера: взять лозунг "*плюс*" одно слово ("*в восприятии*"), а не "*минус*" его; и так, взяв, вспомнить, что чистое "*восприятие*" в духе гносеологии Штейнера первее: 1) представления, 2) чувственного представления, 3) чувственности (раздражений); стало быть, взять "*в восприятии*" значит: 1) взять в чувственном восприятии (что и силится сделать Колиско), 2) взять в представлении, но сверхчувственном (чего Колиско не силится сделать), т.е. в имажинации, 3) взять в непредставимом, сверхчувственном восприятии (чего опять-таки Колиско не сделал), т.е. в инспирации.

Лишь в инспирации, в духовном мире, *качества и количества* правильно соединены в индивидуум комплекса; но там нечего оперировать с качеством и количеством; там мы имеем дело с духовным существом, говорить о котором так, как говорил Колиско, 1) бездарно, 2) ненаучно, 3) не антропософски.

Колиско не преодолел стадии рационализма, не взял качество и количество в символизме, хотя бы имажинативного восприятия (а Бор уже взял!); зачем же он топит антропософию в палеонтологического монстра?

И я в 1915 году, изучая этот лозунг, приводил его в книге "*Гете и Штейнер*"; но я взял на учет "*символизм*" в его стадии многообразия здесь допустимых эмблематизаций. Табличку из семи мироощущений, взятых в градации семи ступеней ($7 \times 7 = 49$), я приложил к книге, предварительно положив ее перед Штейнером и с час ему объясняя принцип эмблематизаций; он не только апробировал принцип, но, взяв карандашик, им сделал ретушь к схеме возможного многообразия научного эмблематизма. Я говорю об этой таблице лишь потому, что она-то и есть база, с которой я расстреливаю предрассудок Колиско.

Вот схема таблицы.

Если брать природу мира в знаке гностического *мироощущения*, то низшей стадией такого взятия является плюрализм; следующей, второй - дуализм; в третьей лежат рассуждения о природе "*универсалий*" (тема средневековья); в четвертой эта тема разрешима в символизме как теории (и здесь карандашик Штейнера мне вписал "*человек*", ну да: "*человек*" - символ высшего); в этих четырех стадиях дана и схема отношения к ХХХIII курсу, где плюрализм - 12 мировоззрений, дуализм - они же в мироощущении (рационалистический гностицизм, реалистический гностицизм и т.д.), монизм - в тонизме, а символизм - в антропософизме; в пятой сфере лишь выступает проблема существования (в ином мироощущенье со-деятельность, как действительность); в шестой - проблема сущего; в седьмой сфере стояло пустое место: здесь карандашик Штейнера вписал мне слово "*Сущность*".

Если же брать природу мира в логизме, то семь мироощутительных этапов воззрений эмблематических таковы: 1) понятие рассудка, 2) разума, 3) метода как эмблемы, 4) эмблема, 5) диалектика, 6) логика собственно, 7) логос.

В волюнтаризме эти этапы: 1) данное, 2) явление, 3) конструкция, 4) идеология, 5) идеация, 6) идеал; в эмпиризме: 1) описание, 2) классификация, 3) система, 4) синтез, 5) творчество, 6) созерцание, 7) теория ("*теория*" сама здесь "*град*", "*Новый Иерусалим*"); в

мистицизме имеем: 1) раздражение, 2) впечатление, 3) восприятие, 4) переживание, 5) имагинация, 6) инспирация, 7) интуиция ("*восприятие*" здесь взято в его представляемой оформленности как неразложимого организма); в трансцендентализме: 1) механизм, 2) ставшее (формализм), 3) становление, 4) действие, 5) содействие, 6) духовное братство (как "*действительность*"), 7) Дух; в оккультизме: 1) элемент, 2) комплекс, 3) организм, 4) индивидуум, 5) иерархия, 6) таинство, 7) прототип.

Нетрудно видеть, что сфера "*элемента*", понятого как "*механизм*", есть сфера "*количества*" в своеобразном "*оккультном*" трансцендентализме, каким является механический атомизм, преодоленный в науке; а сфера "*качеств*" есть сфера комплексов впечатлений, как чего-то ставшего; а их надо брать в становлении; ими являются: восприятия организма, зависящие от переживания действующего индивидуума. В этом, четвертом снизу, ряду в гностической трансплантации индивидуум, переживаемый в действиях построения символизаций и эмблем, есть *символ*; здесь и свободная от гипотез химия Колиско - *символ* иного, в колбу не опускаемого и в вычислениях и в расчетах не содержащегося никак.

Такова справка в духе критического рассмотря эмблем, вытекающая из позиции моего антропософского символизма, изложенного Штейнеру (оттого и таблица эмблем попала в книгу "*Гете и Штейнер*"). Если бы Колиско в духе ее продумал свою "*свободную от гипотез*", но не свободную от предрассудков химию, он устыдился бы ее напечатать и не конфузил бы меня перед "*профессорами*". Не конфузила бы меня и Врэде, предлагающая заменить эвритмией трубу телескопа, чтобы предсказывать солнечные затмения не от вычислений, а от "танцев".

Я подробно указываю на один из сотен примеров, во что вырождается антропософия, если мы упустим "*чуть-чуть*" моего *символизма* в ней. Так, упустив перспективу, себя уплощают, входя в 2 измерения и там становясь не антропософами, а жалкими тенями, пассивно влекомыми туда, куда влечет "*господин*"; "*господин*" - биологическая особь, себя не выговорившая в символизме, и "*господин*" шагает в места, куда антропософский Макап не загнал бы телят. "*Телята*" - внимающая Колиско... "*паства*".

19

Иные из требовавших от меня на Западе отказа от "*символизма*" превратились в "*телят*" одного из антропософских "*колисок*", оставив внешнему миру достойную мумификацию, подточенную червями всякого "*предрассудка*"; оттого-то неясно им: что *индивидуум* их коллектива в градации коллективов под формою ближних - один коллектив, сплетаемый социальной кармою... в общественный бред, что композиция этого бреда прочитываема так же, как прочитываемы астрономические ситуации вселенной; что без этого прочтения кармы коллектива не изменить; и суть - не в реформах "*форшгандов*"; если бы они попытались читать правильно, им действительно понадобилась бы *азбука для чтения*; и они пришли бы... к "*символизму*", за который все так отмахивались от меня в ряде лет "*антропософских*" общений.

Ритмическую ассоциацию кармических композиций, или *вариаций* (форшгандов, форм, уставов, организаций, мод и прочего вздора), пора взять в тему: тема вариаций не есть вариационный конгломерат.

И "*символизм*" - тема антропософии; или же - "*антропософия*" не в теме своей; как таковая, она завтра выродится, как не выродилась одна из вариаций антропософии: "*общество*", которое не спасает сам... "*епископат*", хотя бы он надевал омофоры традиций... от Штейнера.

Теперешняя антропософия в статьях и речах, главным образом плюрализм и монизм, примеряемые не в символе - в синтезе пустого объятия... пустой вселенной с постоянным растаптыванием под ногами маленьких конкретностей, вроде... "*людей*", отдавших ей свою жизнь; теоретические "*чуть-чуть*" упущения и "*чуть-чуть*" недоглядки имеют

следствием не "чуть-чуть" давимые жизни, а жизни... вовсе раздавленные, как жизнь моя периода 21 - 23 годов, раздавленная молчанием и впустую вымотанной у меня жертвы, поступившей вместе с "интуициями" в общий "бак", чтобы несколько "топок" на некоторое время ощутили потепление в общем холодного зала на одну десятую градуса.

А я, даже в личной непрезентабельности, - ни одна сотая градуса, а по крайней мере из "37"; если бы я "37" градусов моего тепла, отданных топкам, умножил на 10 - лишь "370" их ощутили б еле заметное потепление - на миг, а меня - не было б вовсе.

20

Все, о чем говорю, есть намек и импрессия к толстому тому исследования, которое могло бы возникнуть; если бы том написался, - то был бы прочтен в плоскостном взятии; и "370" топок сказали бы:

- "Конечно".

- "И я говорю..."

- "И я..."

- "И я..."

И новый ужас возник бы от этого "Ии".

Сих "ий" - не хочу; и тома - не напишу.

21

Пора написаний прошла; наступает пора прочтений уже в сердце написанного; нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Но кто не имеет *письмян* в сердце и откажется от понимания слов апостола ("*Вы - письмо, написанное в сердцах*"), тот меня не поймет.

Мне это хорошо ведомо.

И оттого я - кончил: кончил себя в одном отношении, чтобы, может быть, начать или, вернее, продолжить себя в другом: в символическом.

Кучино. 7 апреля 1928 года